

ЯН ВАЛЕТОВ

1917



Ян М. Валетов

1917, или Дни отчаяния

«Фолио»

2017

УДК 821.161.1(477)
ББК 84(4Укр)

Валетов Я. М.

1917, или Дни отчаяния / Я. М. Валетов — «Фолио», 2017

ISBN 978-966-03-7823-0

Эта книга о том, что произошло 100 лет назад, в 1917 году. Она о Ленине, Троцком, Свердлове, Савинкове, Гучкове и Керенском. Она о том, как за немецкие деньги был сделан Октябрьский переворот. Она о Михаиле Терещенко – украинском сахарном магнате и министре иностранных дел Временного правительства, который хотел перевороту помешать. Она о Ротшильде, Парвусе, Палеологе, Гиппиус и Горьком. Она о событиях, которые сегодня благополучно забыли или не хотят вспоминать. Она о том, как можно за неполные 8 месяцев потерять страну. Она о том, что Фортуна изменчива, а в политике нет правил. Она об эпохе и людях, которые сделали эту эпоху. Она о любви, преданности и предательстве, как и все книги в мире. И еще она о том, что история учит только одному... что она никого и ничему не учит.

УДК 821.161.1(477)

ББК 84(4Укр)

ISBN 978-966-03-7823-0

© Валетов Я. М., 2017

© Фолио, 2017

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Глава первая | 7 |
| Глава вторая | 33 |
| Глава третья | 50 |
| Глава четвертая | 81 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 102 |

Ян Валетов

1917, или Дни отчаяния

Макет обложки *Всеволода Малиновского*

Художник-оформитель *Е. А. Гугалова*

ПОТОМКИ

Наши предки лезли в клетки
И шептались там не раз:
«Туго, братцы... видно, дети
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти
Лезли в клетки в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце после нас».

Нынче так же, как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.

Даже сроки предсказали:
Кто – лет двести, кто – пятьсот,
А пока лежи в печали
И мычи, как идиот.

Разукрашенные дули,
Мир умыт, причесан, мил...
Лет чрез двести? Черта в стуле!
Разве я Мафусаил?

Я, как филин, на обломках
Переломанных богов.
В неродившихся потомках
Нет мне братьев и врагов.

Я хочу немножко света
Для себя, пока я жив,
От портного до поэта —
Всем понятен мой призыв...

А потомки... Пусть потомки,
Исполняя жребий свой
И кляня свои потемки,
Лупят в стенку головой!

*<1908> Саши Черный. Стихотворения. Библиотека поэта.
Большая серия. 2-е изд. Ленинград, «Советский писатель», 1960*

Глава первая

Наследник

Петроград, Французская набережная.

Февраль 1918 года

Ночь. Метель. Вдоль тротуаров – сугробы. Горит одинокий фонарь – остальные разбиты или расстреляны. В желтом свете лампы кружатся снежные струи. Ветер. Набережная пуста. По дороге идет патруль – три человека с винтовками. Идут тяжело, пригнув головы. На лицах – башлыки, забитые снегом, все в наледи от дыхания. Не горят окна. Не ездят машины и извозчики. Кажется, что во всем городе – замерзшем, темном и страшном, только эти трое и есть.

Но это не так. Из подворотни на патруль смотрит исхудавшая дворняга – жалкое лишаиное существо непонятной расцветки. Собаке холодно, она дрожит и прячется от пронизывающего холода между двумя маленькими сугробами. Она видит солдат, но к ним не выходит – она уже хорошо знает, что такое люди с винтовками.

Патруль проходит мимо. Слышен крик:

– Стой! Стой, кому сказал?

– А ну, стоять! Стрелять буду!

Щелкает винтовочный выстрел. Несмотря на вьюгу, он оглушительно громкий. Дворняга вдавливая себя в снег, прижимает уши. Шерсть на холке встает дыбом, собака утробно рычит и скалится.

– Стой, сука!

Еще выстрел.

Короткий вскрик.

В подворотню хромая вбегает человек. Он в гражданском, без шапки, смертельно напуган и безоружен.

Хлещет еще один выстрел. За спиной бегущего из стены брызжет кирпичной крошкой. Обезумевшая от страха дворняга кидается вслед за беглецом в глубину проходных дворов.

В подворотне мечутся тени, скрипят по снегу сапоги солдат.

– Давай, давай, давай....

– От, бя... Куда побежал? Куда он побежал, сука?!

– Вот! Вот! Стреляй!

Оглушительно рвет морозный воздух выстрел трехлинейки.

– Промазал! Еб твою мать!

Погоня уходит в глубь дворов.

Темные колодцы с мертвыми окнами. Черное небо над ними.

Мечется человек, не находя выхода – двери заколочены или закрыты, остается только путь через подворотни.

Патруль все ближе.

Жметя к стенам беглец. Припав животом к снегу, поджав хвост, змеей ползет вдоль подворотни ошалевшая собака.

Выстрел. И еще. И еще.

Человек падает на колени и кричит. Угодившая в локоть пуля почти отрывает ему руку. Человек встает, делает несколько шагов, а пес забивается в узкую щель под ступени дворницкой. Втискивается, сдирая шкуру, и замирает, тяжело дыша.

Мимо стучат сапоги. Собаку обдает запахом мокрой шерсти, пота, сгоревшего пороха и сивухи.

Грохочет винтовка.
– Есть! Попал!
Дворняга дрожит всем телом, как в ознобе, и тихонько скулит.
– Чо, сучий потрох, бегаешь? А?
– Не скажет он тебе, Гаврилов. Ты ему пол-лица снес нахуй...
Хрип, бульканье...
– Вот, сука.... И карман не проверить, пачкается... Кровищи-то...
– Дай-ка я... Да посторонись ты, бля...
Хруст. Звук мясной, неприятный, повторяется несколько раз.
– Ну, все...
– Не все... Ногами, вишь, сучит, бегунок... Да чо ты его? Штыком всю ночь ковырять будешь?
– Да я штыком больше люблю, вернее...
Хлещет пса по ушам винтовочный выстрел.
– Вот так вернее...
– Ты мне, сука, все валенки заляпал!
– Перетопчешься... Ну, чо там?
– Пусто. Ни курева, ни бумаг...
– Подкладку пощупай! Они там часто прячут. Штыком порани!
Трещит рвущаяся ткань.
– Да, пустой он...
Кто-то из троих звучно харкнул.
– Зря бежали.
– Чо, зря? Чо этот хуй с бугра ночью без мандата шастает! Мы поставлены за революционной законностью смотреть? Или как?
– Или как. Пошли, бля!
– Да погодь! Дай поссать!
Журчит струя. Моча, дымясь, льется через щели в ступенях прямо на дворнягу. Собака дрожит всем телом, глаза лезут из орбит, но не издает ни звука.
Стучат шаги. Голоса удаляются.
– Он, падла, думал убежать! А пуля-то быстрее!
– Может, он юнкер?
– Какой, нахуй, юнкер? Ему лет тридцать, не меньше!
– Юнкер – не юнкер... Все! Отбегалси!

Дворняга выбирается из-под крыльца.
Двор пуст. Ни одно окно так и не зажглось. Пес принимает.
Рядом с крыльцом на снегу желтые разводы мочи. Несколько гильз. Чуть дальше темной грудой тело. Все вокруг забрызгано темным. Черная на белом лужа возле места, где была голова беглеца.
Собака нюхает темное и начинает жадно есть снег, смешанный с кровью и кусками мозга. Скулит от жадности, чавкает и давится подтаявшей жижей.
Потом подбегает к трупку и лакет темное из лужи.
Иногда она оглядывается и рычит.

Набережная Невы. Ночь. Февраль 1918 года

По Набережной едет грузовой автомобиль. Фары высвечивают летящий снег, сугробы по обочинам. Метель. В кабине – двое. Водитель в кожанке на меху и пассажир в короткой

дохе, перетянутой портупеей и с коробкой маузера на боку. Воем мотор. Автомобиль трясет на колдобинах.

Петропавловская крепость. Каземат

Грузовик сворачивает к воротам Петропавловской крепости. Створки распахиваются. Внутри огни, люди, машина въезжает во двор.

Человек с маузером выскакивает из кабины. У него военная выправка – разворот плеч, прямая спина, четкие движения. Из кузова грузовика выпрыгивают двое конвоиров с винтовками – замерзшие и злые.

Бубенцов с сопровождающими входит внутрь казематов.

Вот он шагает по коридору вслед за человеком в армейской шинели. Тусклый свет потолочных светильников. Холодно, хотя и не так, как на улице. От дыхания идущих в воздухе пар.

Петропавловская крепость. Трубецкой бастион.

Кабинет коменданта Павлова

Входит человек с маузером. Павлов – сравнительно молодой мужчина крестьянской наружности – встает ему навстречу.

В комнате натоплено, в углу стоит разогретая докрасна печь-буржуйка.

– Спецуполномоченный Бубенцов, – представляется вошедший. – Петроградская ЧК. У меня особое поручение от товарища Троцкого. Вот мандат.

Протягивает бумагу коменданту.

Тот читает документ, шевеля губами.

– Куда везете? – спрашивает он.

Бубенцов пожимает плечами. У него гладкое лицо с правильными чертами, скуластое, незлое. Равнодушное.

– В Кресты.

Петропавловская крепость. Трубецкой бастион

По коридору конвоир ведет Михаила Ивановича Терещенко и Николая Михайловича Кишкина. Оба выглядят непрезентабельно – с неопрятными бородами, в грязных свитерах, исхудавшие. В руках простыни серого цвета, сырые и застиранные, в которых завязаны личные вещи и, если судить по форме, несколько книг.

В каземате холодно, камеры давно не отапливаются. На обоих надето все, что возможно надеть, но чувствуется, что это особо не помогает.

– Куда это нас? – спрашивает Кишкин у Терещенко.

– Молчать! – лениво огрызается конвоир.

Кишкин не обращает внимания на окрик.

– Как вы думаете, Михаил Иванович? Это на расстрел?

– Молчать! Прямо шагай!

– Не знаю, Николай Михайлович, – отзывается Терещенко. – Одно из двух: или расстреляют, или не расстреляют. Что-то да будет...

Коридор длинный, с круглым сводом. Справа двери камер, слева зарешеченные окна. За окнами все та же метель.

Петропавловская крепость. Трубецкой бастион.

Караульное помещение

Бубенцов и двое конвоиров ждут заключенных в караулке. Когда их заводят, чекист ухмыляется краем рта.

Кишкин, увидев чекиста с маузером на боку и двух конвойных, бледнеет. Терещенко тоже становится не по себе.

– Ваши вещи, граждане, – говорит Бубенцов, указывая на стоящие перед ним два небольших чемодана. – Одевайтесь и следуйте за мной. Вы поступили в мое распоряжение.

Набережная Невы. Ночь. Февраль 1918 года

Грузовик подъезжает к «Крестам», тормозит у ворот. Сигналит. В кузове – конвоиры и Кишкин с Терещенко. За боковым стеклом кабины виден профиль Бубенцова.

Ворота открываются. Автомобиль заезжает во внутренний двор тюрьмы.

Внутренний двор «Крестов»

Задний борт грузовика откидывается.

– Выходите!

У машины стоит Бубенцов. Рядом с ним солдаты из тюремного гарнизона – шинели, ружья, красные от сырого ледяного ветра лица.

Терещенко и Кишкин спрыгивают с кузова на заснеженный двор.

– Вещи поставить. Три шага назад. Кругом. – командует чекист. – Смирно стоять.

Машина, воя двигателем, отъезжает в сторону.

– Ну что, господа министры, – говорит Бубенцов. – Настало время прогуляться. Шагом.... марш!

Они идут рядом, прямо к серой стене с оббитой штукатуркой, возле которой лежит небольшая поленница дров.

– Не может быть, – негромко говорит Терещенко товарищу. – Она обо всем договорилась! Должна была договориться!

Кишкин шагает вперед как сомнамбула. Он парализован страхом, предчувствием близкой смерти.

– Вперед, не останавливаться! – покрикивает на них специальный уполномоченный.

Вблизи видно, что стена вся в отметинах от пуль – их тут сотни. А поленница возле нее – вовсе не поленница.

Под стеною лежат несколько десятков трупов – закоченевших, присыпанных снегом.

– Кругом! – командует чекист.

Терещенко и Кишкин медленно поворачиваются.

– Это ошибка! – кричит Терещенко. – Он смертельно напуган и изо всех сил старается этого не показать.

Министры стоят у стены среди мертвых тел, в десятке метров от них Бубенцов и пятеро солдат из комендантского взвода.

Расстрельная команда.

– Уверяю вас, Михаил Иванович! – отзывается специальный уполномоченный равнодушно. Голос у него плоский, лишенный интонаций. – Никакой ошибки нет.

Двор освещен прожекторами. Несколько из них бьют арестантам прямо в лицо, мешая рассмотреть лица палачей.

– Взвод! Товсь!

Солдаты снимают с плеч винтовки. Лязгают затворы.

– Цельсь!

Терещенко закрывает глаза.

Прожектора светят и через закрытые веки.

И от этого света все белым-бело. А потом белый цвет тускнеет и превращается в серый.

И вот уже летит под колеса асфальт...

31 марта 1956 года.

Монако. Прибрежное шоссе. Утро

По Прибрежному шоссе несется «Мерседес»-купе 1955 года – самая дорогая и престижная машина тех лет. Ревет мотор. Авто легко вписывается в повороты, изредка повизгивая шинами. На одном из виражей купе замедляет ход.

В сторону от шоссе убегает тенистая дорожка, возле нее виден указатель с надписью «Villa Mariposa». Указатель старый, облупившийся, блеклый.

«Мерседес» медленно катится, пожилой человек, сидящий за рулем, разглядывает прожавевшую, обвитую диким виноградом табличку, но разглядывает недолго. Рука его уверенно переключает передачу и авто сразу набирает ход.

Мгновение – и от него остается только поднятая колесами пыль да затихающий рык мотора.

Монако. Отель «Де Пари Монте-Карло». Тем же утром

Мерседес тормозит возле подъезда. Из авто выходит высокий подтянутый мужчина лет семидесяти, а может, и меньше. Крупная голова, лысина, лишь на затылке и висках коротко подстриженные седые волосы.

Он в белом дорогом костюме, в круглых очках от Картье – элегантно и безупречно одет.

Старик отдает ключи кар-бою и входит в отель. Швейцар распахивает перед ним дверь.

– С приездом, месье Терещенко.

– Спасибо, Поль...

Старик идет через вестибюль к стойке рецепции.

– Рад видеть вас, месье Терещенко, – приветствует его портье. – Ваш номер готов!

– Спасибо, Жерар, – говорит приезжий, забирая со стойки ключи. – Багаж в машине...

– Все будет сделано, месье Терещенко. Спуститесь к завтраку?

– Пожалуй, нет. Подайте в номер.

– Как всегда? – улыбается портье.

– Как всегда.

Утро раннее, людей в ресторане почти нет. За Терещенко внимательно наблюдает человек, пьющий утренний кофе на веранде. Он черняв, неширок в плечах, одет неброско, и на его столике, помимо чашки с кофе и стакана с водой, легкая шляпа и газеты. Когда Терещенко садится в лифт, человек встает со своего места и спускается в туалет. Там он заходит в телефонную будку, набирает номер, ждет, пока на той стороне снимут трубку, и говорит невидимому собеседнику по-русски два слова:

– Он здесь.

Номер люкс отеля «Де Пари Монте-Карло»

Старик без пиджака стоит на балконе и смотрит на марину, полную яхт.

Видно, что он находится в прекрасной физической форме. Мощные покатые плечи, широкая грудь, крепкие руки. Тонкие пальцы пианиста или карточного игрока играют брелком – фишкой из «Гранд Казино» в золотой оправе на тонкой, искусного плетения, цепи.

В дверь номера стучат.

Входит официант, толкая впереди себя тележку с завтраком.

Терещенко завтракает, сидя на балконе.

Шампанское, яйца пашот, паштет, черная икра на сверкающей ледяной подушке...

В номере трезвонит телефон, но старик не обращает на него внимания – пусть себе звонит.

Он полулежит в кресле, покуривая сигару, и продолжает глядеть на море, летающих чаек и замершие у пирсов яхты.

Телефон замолкает, но спустя секунду снова разражается трелью.

Февраль 1918 года. Петроград. Смольный. Кабинет Троцкого

Звонит телефон, но это уже другой телефон. Старый, деревянный, с массивной бронзовой подставкой под слуховую трубку и отдельным микрофоном.

Аппарат стоит на большом письменном столе, крытом зеленым сукном. Рядом электрическая лампа со стеклянным абажуром, красивый чернильный набор со стальными перьями, пресс-папье, стопка исписанных листов.

За столом человек. Он худ. На плечах его кожанка. У него широко расставленные глаза, кудрявящиеся волосы, металлические очки на тонком хрящеватом носу. Рука человека зависла над документом, перо в чернилах – он готов подписать документ.

Вот человек поднимает голову и теперь очевидно, что это Лев Давидович Троцкий.

– Господин Терещенко... – говорит он. – Вернее, теперь уже товарищ бывший министр... Не буду говорить, что рад вас видеть.

– Аналогично, – говорит Михаил.

Он продрог, губы синие, на пальто замерз подтаявший снег. Иней даже на волосах. Его бьет крупная дрожь, и он старается ее сдержать, но получается плохо.

– Вы знаете, кто я?

– Да. Вы – Лев Троцкий.

Троцкий откладывает перо на край прибора и садится ровно.

Его и Терещенко разделяет только стол и свет лампы.

– Замерзли, Михаил Иванович? – спрашивает Троцкий с неожиданным участием в голосе.

– Глупый вопрос... Меня везли сюда в кузове грузовика.

– Да? Как по мне, так весьма гуманно. Не в катафалке, не волоком, привязав к рессоре. Михаил Иванович, я бы на вашем месте был счастлив тому, что жив. Поверьте, это вполне достаточный повод для счастья. Чай будете?

– Буду.

– Весьма разумно. Принесите чаю, – приказывает Троцкий кому-то, стоящему за спиной Терещенко. – Вы с лимоном пьете? Как ваша супруга? Или с молоком? Как англичане? Или любите варенье, как ваш друг Дарси?

– Просто чаю, – говорит Михаил глухо. – Погорячее.

Сзади почти неслышно закрывается дверь.

Троцкий и Терещенко молча смотрят друг на друга.

Троцкий с интересом. Терещенко с нескрываемой неприязнью.

– Что ж... – выдавливает из себя Михаил. – Вы меня совершенно не боитесь, Лев Давидович? А ежели я на вас брошусь?

– Не броситесь, – спокойно парирует Троцкий. – А броситесь, я вас застрелю. Мне это не сложно, Михаил Иванович. Я убивать могу. Проверено. А вы, Михаил Иванович?

Терещенко пожимает плечами.

– По обстоятельствам.

– А надо безо всяких обстоятельств, – смеется Троцкий. – Вы, мил человек, убивать толком не научились, а попытались этой страной править. Забавно.

– Что – забавно?

– Забавно, Михаил Иванович, что вы всерьез полагали, что сможете управлять Россией не испачкав рук, а так не бывает. Революция такие вещи не прощает, товарищ Терещенко. Вы для нее нежны, как девушка на выданье, душевная организация тонкая, чуть что – и вы в сомнениях. А надо было безо всяких сомнений поставить нас к стенке! И не вы бы пили у меня в гостях чай, Михаил Иванович, а я у вас. Если бы еще мог что-то пить...

– Была б моя воля...

– Так была у вас воля, – улыбается Троцкий, но улыбка у него неприятная, холодная. – Решимости не хватило. Тут я готов согласиться с Владимиром Ильичом, он хоть и выражается вульгарно, чего я не терплю, но зато дает удивительно меткие определения. Кишка у вас оказалась тонка, Михаил Иванович, и сфинктер слаб.

Терещенко морщится.

– Что? Не по нраву определение? Обидно? Зато весьма исчерпывающе! Лучше и не скажешь!

Входит человек во френче. Перед Терещенко ставят стакан с чаем. Стакан в серебряном подстаканнике тончайшей работы, такой здесь неуместен совершенно.

– Вот по причине вашей импотентности, – продолжает Троцкий, заглядывая а стол, – я вас и не боюсь. Не вас конкретно, товарищ Терещенко, как личность, а всех вас как власть... Да какая вы власть? Название одно!

Он шарит по ящикам стола, что-то разыскивая.

– Ага, вот! – Троцкий кладет перед собою пачку папирос и спички, на лице забота и дружелюбие. – Вы же, наверное, без табака страдаете? Курите, мил человек, курите...

Терещенко разглядывает Троцкого, как редкое ископаемое, потом ухмыляется и отпивает горячий чай. Молча, с видимым наслаждением закуривает, выпускает дым к потолку и лишь потом говорит:

– Спасибо.

– Да пожалуйста, товарищ Терещенко, пожалуйста!

– Хотите выглядеть гуманистом?

– Я хотел бы... Но не получится. Нельзя мне.

– Почему?

– Не хочу в результате оказаться на вашем месте, Михаил Иванович.

– Вы и так на моем месте, Лев Давидович.

Троцкий смеется.

– Да... Формально – я ваш преемник. Неправда ли, это добавляет пикантности в ситуацию?

– Мне мое положение не кажется смешным, – замечает Терещенко ледяным тоном.

– Мне, честно говоря, тоже, – вежливо отвечает Троцкий. – Но оно еще не стало трагичным. А ведь может стать. И оглянуться не успеете!

Некоторое время они разглядывают друг друга.

– Что вы от меня хотите? – спрашивает Терещенко, делая очередной плоток чая.

– Для начала – ответов на некоторые вопросы.

– А потом?

– Не могу точно сказать. Зависит от ответов. И от обстоятельств.

– Спрашивайте.

– Ну спасибо, что разрешили, – Троцкий не скрывает издевки. – Давайте начнем... Могу ли я полюбопытствовать, товарищ Терещенко, о чем вы, собственно, договорились с моим дорогим другом Владимиром Ильичом Лениным? Или о чем не договорились? Почему он вас так искренне и самозабвенно ненавидит, что готов удавить собственными руками?

Снова звенит стоящий перед Троцким телефонный аппарат. Лев Давидович, морщась, протягивает руку, чтобы снять трубку...

31 марта 1956 года. Монако. Отель «Де Пари Монте-Карло»

...Терещенко подносит трубку к уху.

Говорит по-французски:

– Слушаю вас... Да.

Переходит на русский, говорит совершенно правильно, без акцента.

– Да, я на месте. Не против. Да. Хорошо. Через час. Спасибо.

Он кладет трубку на рычаги.

Одновременно с ним, но в комнате другого отеля, кладет трубку на рычаги его собеседник. Он сравнительно молод – лет до сорока. Одет, пожалуй, не хуже, чем Терещенко – дорогой костюм, золотой «брегет» на кисти, галстук, модная легкая шляпа. Лицо его выбрито, темные редковатые волосы тщательно уложены. Он выходит на улицу и прячет широко посаженные глаза за темными стеклами «рей-бенов». Возле прокатного «Ситроена» его ждет мужчина в костюме попроще – сереньком, невзрачном.

– Вот, Сергей Александрович... – говорит он негромко по-русски, протягивая недавнему собеседнику Терещенко ключи. – Заправил. Пистолет в перчаточном ящике.

– Зачем? – спрашивает Сергей Александрович, открывая дверцу машины.

– Что – зачем?

– Пистолет зачем?

– На всякий случай.

– Заберите, Николай. Никакого случая не будет...

– Но мне приказано...

Сергей Александрович уже сидит за рулем, роется в перчаточном ящике и, достав оттуда «вальтер», сует его в руки человека в мышинного цвета костюме.

– Вам приказано слушать мои приказы. И я вам приказываю, Николай, – идите, завтракайте.

«Ситроен» отъезжает от тротуара и вливается в разноцветный поток машин.

Человек в сером костюме остается стоять у края дороги и, оглянувшись, прячет пистолет во внутренний карман пиджака.

Москва. Конец февраля 1956 года. Площадь Дзержинского.

Зима

Повсюду много снега.

Расчищено, но, видимо, снегопад недавно закончился и снег вывезти не успели. Машин мало. Завывая электромотором, по дороге едет троллейбус. Его обгоняет черная «Победа», принимает вправо и становится возле одного из подъездов здания КГБ СССР.

Из автомобиля выходит Сергей Александрович Никифоров.

Он в богатом шерстяном пальто и норковой шапке пирожком, сверкающих начищенной кожей зимних ботинках. «Победа» отъезжает, а Сергей Александрович быстро, стараясь не испачкать обувь, входит в подъезд.

Часовой на дверях смотрит его удостоверение, на вертушке ему дают пропуск. Сразу за проходной ждет высокий офицер с тонким, неожиданно интеллигентным лицом.

– Вас ждут. Пройдите, пожалуйста, за мной, Сергей Александрович.

Лифт.

Длинный коридор с ковровой дорожкой, стеленной на паркет.

Офицер и гость входят в огромную приемную.

На месте секретаря другой офицер, встающий им навстречу. Он принимает у гостя пальто, шапку и повторяет негромким голосом:

– Вас ждут...

Гость входит в дверь, на которой закреплена металлическая табличка «Председатель КГБ СССР генерал Серов И. А.».

Кабинет председателя КГБ СССР

Кабинет большой, как и положено по чину.

На стене за креслом председателя портрет Булганина – интеллигентное лицо с седой бородкой клинышком – ни дать ни взять адъюнкт-профессор.

– Ну, здравствуй, Сережа...

Серов жмет гостю руку.

– Покажись-ка...

Генерал в штатском.

Это невысокий мужчина лет пятидесяти— пятидесяти пяти, с очень приятным лицом, добрым и открытым, совершенно не соответствующим должности, которую он занимает.

– Товарищ генерал...

– Давай без официальности, – морщится Серов. – Это сколько я тебя не видел? Лет семь-восемь?

– С сорок девятого, Иван Александрович.

– Значит, восемь.

– Так точ...

– Да перестань ты каблуками щелкать!

Гость улыбается.

– Договорились.

– Садись. Я распорядился насчет чая. Тебя не спрашивал. Может, кофе хочешь?

– Если честно – не хочу, Иван Александрович. Я с вами чаю.

– Ну и ладненько... Садись.

Они садятся за стол заседаний друг напротив друга.

– Ты папку, что я послал, прочел?

Сергей кивает.

– Тогда обойдемся без увертюры. Я расскажу тебе то, чего в папке не было. Господин Терещенко был в списке на ликвидацию с 1918 года – приказ товарища Ленина, отдан лично. Но господинчик оказался хитер – увернулся несколько раз, а потом по своим каналам передал нам, что в случае его насильственной смерти некие документы будут переданы гласности...

Иван Александрович замолчал, глядя на гостя.

– Тут мне положено спросить, что за документы?

– Наверное.

– Что это за документы, Иван Александрович?

– Очень важные документы, Сережа. Для страны и партии важные. Очень.

– Подробнее не скажете?

Генерал улыбается, но улыбка кривоватая, вымученная.

– Много лет темные силы пытаются очернить светлый образ вождя мирового пролетариата, утверждая, что Владимир Ильич, организовав революцию 17-го года, действовал исключительно в интересах Германии и на германские деньги. Надеюсь, ты понимаешь, что все это – злобная клевета? Так, Сережа?

Сергей кивает.

– Сегодня эта тема далеко не так болезненна, как в те года, но... Зачем, чтобы накануне сороковой годовщины Революции всякая шушваль полоскала честное имя Владимира Ильича? Что ты на меня глядишь, как солдат на вошь? Да, такие документы были. И все, кому положено, об этом знали. Но это подделка. Грубая подделка!

– И он действительно мог их обнародовать?

– Да.

– И они до сих пор у него?

– Да. Мы много раз хотели с ним договориться – сначала чтобы достать мерзавца, а потом, когда страсти поутихли, хотели выкупить бумаги – появились у нас сторонники мирного решения вопроса. Но он избегает нас, как черт ладана. У этого господинчика нюх на неприятности,

и подобраться к нему очень сложно. Другое дело – ты. Вот ты его можешь заинтересовать! Международный обозреватель, журналист, немножко склонный к фронде... Он всегда питал склонность к пишущей братии.

– Каковы мои полномочия?

– Достаточно широкие. Твоя задача – обезвредить бомбу, уговорами или силой... Тут решай сам. В стране перемены. Нам уже не все равно, что о нас пишут и думают, и никому не нужно, чтобы из шкафа доставали скелеты. Поговори с ним. Придумай какую-нибудь историю, но такую, чтобы он поверил.

– Например, что я пишу книгу о Временном правительстве и его роли в революции... Сойдет?

– Годится, – говорит генерал, закуривая. – Если решит проверять, мы легенду поддержим!

Он действительно выглядит добряком, если не обращать внимания на стальной проблеск во взгляде и на то, как он иногда в линию сжимает губы, отчего выражение лица меняется кардинально, буквально за доли секунды.

– Значит, так... Ты пишешь книгу. К юбилею революции и пишешь, – продолжает он. – Скажи, что отношение к участникам тех событий сейчас меняется, появился большой интерес читателей... Ну, это так, канва... Ты лучше придумаешь. Разберись, чем он дышит. Опасен ли? Как настроен к СССР? Насколько импульсивен? Это важно. Потому что, если он все-таки решит обнародовать бумаги, то головы полетят сверху донизу – в том числе и моя, и твоя. Сам знаешь, будут искать виновного и обязательно найдут.

– Если я решу, что он опасен? – спрашивает Сергей Александрович. – Что я должен делать?

– Хороший вопрос, – говорит генерал, улыбаясь одними губами. – Давай отложим его на потом. Для начала узнай о нем все, что можешь узнать. Тебе помогут в архиве, предоставят любые документы. Все, что есть.

– Спасибо, Иван Александрович.

– Потом скажешь. Придется подписать допуск – твоего для этих документов недостаточно. Ну и естественно, ты после задания забываешь о том, что читал и что видел. Понятно?

– Так точ... Понял, Иван Александрович!

– Ты отпуск оформил?

– Да, для всех я в отпуске.

– Ну и хорошо...

– Разрешите приступить?

– погоди, – генерал встает и берет со стола папку. – Тут такое дело... В общем, привет тебе от родителей.

Он кладет перед Сергеем бумажную папку с завязками.

Тот смотрит на нее, но не прикасается, хотя сначала потянулся к завязкам рукой.

– Бери-бери... – подбадривает его Серов и закуривает новую папиросу. – Там несколько фотографий, последних. И записка для тебя. Скажу, было сложно все организовать, но... В общем, давай, читай, смотри... Выносить отсюда нельзя, сам знаешь.

Сергей медленно, словно нехотя, тянет за шнурок. Папка раскрывается.

Он рассматривает фотографии (мы не видим, что на них), потом читает записку.

Серов ждет, пока Сергей закончит читать, курит, сбрасывая пепел в массивную бронзовую пепельницу.

– Спасибо, – произносит Сергей и откашливается. – Они очень постарели, дядя Ваня.

– Я заметил, – хмурится Седов. – Ничего не поделаешь. Время.

– Они когда-нибудь вернутся?

– Пока они нужны партии там, где находятся. Но я не исключаю такой возможности. Ты же понимаешь, насколько ценно то, что они делают?

– Конечно.

– Ну вот и хорошо, – на этот раз улыбка генерала искренняя. – Есть у нас шахтерские династии, есть военные, а есть такие, как у тебя, Сережа. Им названия не придумали, но они есть. – Он замолкает на несколько секунд, а потом спрашивает:

– Когда приступишь?

– Немедленно, – Сергей встает.

– Отдохни. Завтра в девять за тобой заедет машина, привезет в архив. Помощника я выделил. Хороший парень. Я его еще студентом приметил – наш человек! До мозга костей! Кто ты в действительности он не знает, легенда будет та же: ты – известный советский журналист, пишущий книгу об Октябре по заданию ЦК.

Генерал тоже встает, давая понять, что аудиенция закончена.

Архив КГБ СССР. Комната для чтения документов. Февраль 1956 года

В комнате нет окон, большой стол и два стула друг напротив друга. Ровный белый свет. На углу стола – несколько бумажных скоросшивателей. На полу – ящики с документами.

Сергей сидит напротив сравнительно молодого человека в форме капитана КГБ – худого, остроликого, темноволосого. У него тонкие пальцы пианиста – с бумагами он обращается ловко, профессионально, как и положено архивисту.

На столе пепельница с окурками, графин с водой, два стакана.

Капитан передает Сергею Александровичу документы и фотографии – одна за одной, поясняя на словах:

– Это фотографии семьи Терещенко, сделанные на похоронах отца, Ивана. Интересны тем, что здесь можно увидеть практически всех членов семьи. Михаил Терещенко рядом с матерью. Он еще студент, но уже официальный наследник.

– А кто это?

– Его кузен...

Капитан смущается из-за того, что употребил «старорежимное» слово, и быстро поправляется:

– Двоюродный брат – Федор Федорович Терещенко, в семье его звали Дориком. Они с Михаилом Ивановичем были в очень близких отношениях, дружны с детства. Это сестры и младший брат Терещенко. Это его дядя – Богдан Ханенко. Это еще один дядя – Александр...

– Большая семья...

– Очень.

– Вы давно ей занимаетесь?

– Второй месяц. Сразу после получения предписания.

– Документов много?

– Много. Но за неделю управимся.

– За неделю? – переспрашивает Сергей Александрович. – Неделя – это хорошо. Это почти мгновенно.

Он разглядывает фотографию с похорон. Фото старое, желтоватое, сделанное на картонке. Люди, выстроившиеся возле могилы. Голые деревья. Снег. На заднем плане здание огромной усадьбы.

Он переворачивает карточку.

На картоне синяя печать с вписанным от руки архивным номером и надпись сильно выцветшими чернилами, явно сделанная женской рукой наискосок от названия фотографической мастерской города Глухова:

«Похороны папеньки. Февраль 1903 года. Усадьба Фрязино».

Сергей снова переворачивает фото и всматривается в лица стоящих у могилы людей. И изображение оживает в его руках.

1903 год. Февраль. Вольфино. Имение семьи Терещенко

Серый зимний день.

Небольшое кладбище. Богатые памятники. За кладбищем – усадьба, за нею парк. Голые деревья, десятки ворон на ветвях.

Закрытый гроб возле свежевырытой могилы – черные комья на белом снегу, машет кадилом священник.

Возле гроба две группы людей. В первой – богато одетые родственники покойного: зимние пальто с бобром, шубы, трости, кожаные перчатки. И вторая – победнее, похожая на фабричных и приказчиков. Платки, картузы, меховые треухи, полушубки собачьей шерсти. Бородачи в крестьянских зипунах.

Среди родственников выделяется высокая женщина со скорбным застывшим лицом. Рядом с ней – рослый юноша с открытым лбом, три девушки (явно дочери, если судить по внешнему сходству) разного возраста. Чуть позади вдовы стоят мужчины из семьи покойного – родные и двоюродные. Их тоже можно отличить по фамильным чертам.

Гудит басом священник. Кричат вороны.

Один приказчик в толпе тихо говорит другому.

– Вон тот, молодой... Видишь? Младший Терещенко, Мишка... Ему все досталось.

– Повезло, – отвечает второй с завистью в голосе. – Поперву дед помер, потом сразу и отец...

– Отец и не был тут вовсе, все у моря жил, оттого, что чахоткой болел. Там и скончался, земля ему пухом. Сюда его к дочке привезли, видишь – могила с ангелом? – первый понижает голос до еле слышного. – Деда Николу Артемьича – в Глухове, в церкви похоронили. А Ивана Николовича здесь – с тестем и дочкой рядом...

– Это что ж теперь? Молодой здесь будет жить?

– Не будет, – шепчет первый. – Зачем ему? Он студент и мильёнщик. Ему наше захолустье без надобности. У Терещенок, говорят, и в Киеве дома, и в Москве, и в самом Петербурге даже, возле самого царя...

– Возле царя? – удивляется второй. – Врут, поди ж...

– А может, и не врут.

– Может, – соглашается второй со вздохом. И повторяет:

– Повезло парню.

– Аминь! – басит священник, и оба приказчика торопливо крестятся вместе с толпой.

Богатый, красного дерева с позолоченными ручками, гроб опускается в яму.

Подходят и кидают горсти земли родичи. Мерзлые комья стучат по крышке.

Стоит рядом с матерью и сестрами семнадцатилетний Михаил Терещенко – губы плотно сжаты, глаза сухи, подбородок чуть поднят.

– Аминь!

Все снова крестятся и начинают отходить от могилы.

Вдова с детьми и братья покойного все еще стоят и смотрят, как насыпают могильный холм.

– Прощай, Иван... – говорит Елизавета Михайловна Терещенко.

Лицо ее по-прежнему неподвижно, но из угла глаза катится по щеке слеза.

Кричат вороны. Между низкими серыми облаками пробивается неяркое зимнее солнце.

Монако. 31 марта 1956 года

Терещенко идет по набережной, рассматривая яхты.

Оказавшись перед входом в казино «Монте-Карло», он останавливается, закладывает за спину руки и улыбается, словно встретил старого знакомого. Он даже делает несколько шагов по направлению к лестнице, но глядит на часы и поворачивает обратно. По набережной, несмотря на «не сезон» и достаточно раннее утро, уже едут машины – в основном дорогие, хотя на дороге есть и фургоны, и грузовички, везущие свежие продукты в рестораны и кафе. И вдруг навстречу Терещенко выплывает огромный старый лимузин – кабриолет, весь белый, сверкающий хромом, с летящей фигуркой на капоте.

Михаил Иванович замирает, не в силах оторвать от машины взгляд.

«Роллс-ройс» неторопливо проезжает мимо старика. Крыша опущена, а за рулем...

За рулем сидит молодой Терещенко во фраке, автомобильном шлеме и сдвинутых на лоб очках-консервах. Он катится мимо Михаила Ивановича, смотрит на него с прищуром – мешает солнце, сдвигает очки на глаза, переключает скорость, и «роллс-ройс», взревев мотором, срывается с места...

Франция. Лазурный берег. Июнь 1907 года

Залитая солнцем извилистая дорога в горах. Вечер. На склонах – зелень. Внизу – сверкающее море.

По дороге мчится длинный открытый автомобиль – это самый красивый автомобиль 1907 года – «роллс-ройс» «Серебряный призрак». За рулем лимузина – повзрослевший на четыре года со времени похорон отца Михаил Терещенко.

Он один в машине и едет очень быстро, значительно быстрее, чем позволяет узкая прибрежная дорога, но наслаждается скоростью и риском: он – превосходный водитель, это сквозит в каждом движении. На Терещенко смокинг, бабочка и шоферские очки-консервы, встречный ветер треплет его волосы.

Поворот, другой, третий... Летит из-под шин мелкий гравий покрытия.

Смеркается. За скалами и зеленью над самым морем видна россыпь огней.

Автомобиль уже в городе, мчится по горящей огнями набережной, сворачивает к величественному зданию с фонтанами и, проехав по подъездному каретному кругу, тормозит у парадной лестницы.

Монако. Казино в Монте-Карло. Июнь, 1907 год

Михаил входит в игровой зал.

Среди столов для баккары множество гостей – женщины в вечерних нарядах, мужчины в смокингах. Михаил выглядит очень молодым на их фоне, среди игроков практически нет людей его возраста. Он проходит через зал, где играют в карты – его интересует рулетка. Здесь тоже полно гостей, вьется над головами табачный дым, вращаются колеса, щелкают скачущие по кругу шарики.

За одним из игровых столов есть место.

Михаил садится напротив женщины в темно-лиловом костюме и шляпке с прозрачной вуалью, и они обмениваются улыбками. Дама играет по маленькой, перед ней небольшая горка фишек среднего достоинства.

Терещенко покупает фишки на пятьдесят тысяч франков.

– Надеетесь выиграть? – спрашивает дама с улыбкой.

Она похожа на итальянку, но говорит по-французски.

– Я выиграю, – отвечает Михаил, улыбаясь в ответ. – Сегодня особенный день.

– Я попробую угадать, – говорит дама. – Вы получили наследство?

– Нет...

– Ограбили банк?

– Нет, – смеется Михаил, с интересом поглядывая на женщину. – Давайте еще раз угадывайте, последний!

Она, несомненно, хороша, но явно немолода. Тридцать или за тридцать. Темные глаза, тонкий нос, яркие, умело покрашенные губы, рыжие волосы, убранные в модную прическу. На пальцах дорогие кольца, в ушах серьги с изумрудами, отделанный серебром и перламутром мундштук, в котором дымится турецкая сигарета.

– У вас день рождения!

– Признайтесь, вы знали!

– Нет, не знала! Просто вы выглядите, как юноша, получивший долгожданный подарок!

Вы любите подарки?

– Обожаю!

– С днем рождения...

– Мишель, – представляется Михаил. – Мишель Терещенко.

– С днем рождения, Мишель!

Она берет с подноса бокал шампанского.

– Спасибо... – он глядит на женщину вопрошающе.

– Моник. Просто Моник.

– Спасибо, Моник.

Михаил тоже берет бокал у проходящего мимо официанта.

– И как вы собираетесь выиграть? – спрашивает Моник.

– Я буду ставить на две даты... 17 и 23, – отвечает Мишель, наклоняясь к столу.

Он делает ставки.

– По две тысячи франков на 17 и 23!

– Ставки приняты, месье! – подтверждает крупье.

– И что это за даты?

– Вы так любопытны, Моник?

– Вы даже не представляете, насколько я любопытна. И все-таки – даты... Это секрет?

Моник улыбается и получает улыбку в ответ.

– Никакого секрета – это дни рождения сестры и матери.

– Я-то думала – это связано с невестой.

– У меня нет невесты.

– Да? – удивляется Моник. – Это хорошо. Впрочем, что это меняет?! Я тоже буду ставить вместе с вами! Можно? Вы подарите мне часть вашей удачи?

– Ставки сделаны, – объявляет крупье.

Шарик падает на колесо рулетки.

– А что подарите мне вы? – спрашивает Мишель.

– Вы не будете разочарованы, – отвечает женщина без кокетства, глядя собеседнику прямо в глаза. – Но пусть мой подарок будет сюрпризом...

Шарик бежит по кругу и наконец-то замирает на цифре 17.

– Семнадцать, черное!

Лопатка крупье поддвигает к Михаилу гору фишек.

Следующее движение – и перед Моник тоже появляются выигранные фишки.

– Ну вот, и я стала чуть богаче... – говорит она. – Вам действительно везет, Мишель. В таких случаях опытные игроки советуют вовремя уйти.

– Это правило не для меня... – Терещенко поворачивается к крупье. – По десять тысяч франков на 17 и 23!

Он смотрит на Моник. Внимательно. Прямо в глаза. Женщина не отводит взгляд.

– Я всегда играю до конца, – говорит он, улыбаясь.

– Рискованно, – отвечает Моник. – Но мне нравится...

Она отодвигает от себя выигранные фишки и говорит крупье:

– Поровну. На 17 и 23.

– К сожалению, месье, максимальная ставка на номер – десять тысяч франков. Таковы правила, месье...

Игроки за столом смотрят на Мишеля и Моник с нескрываемым интересом, но тех это не смущает. Их увлекает игра. Карточная и не только.

– Ставки сделаны!

Шарик снова летит по кругу. Колесо замедляется...

– 23, черное! – объявляет крупье. – Месье, мадам...

Он распределяет выигрыши.

– По десять тысяч на 17 и 23! – Михаил снова двигает гору фишек на игровое поле.

– Это максимальная ставка, месье, – терпеливо поясняет крупье. – Десять тысяч на номер, двадцать – на два номера!

Он явно озабочен, хотя держит себя в руках. За его спиной маячит фигура распорядителя, который внимательно следит за событиями в игре.

– Третьего раза не бывает, – говорит Моник.

Но двигает и свои фишки.

Игроки делают ставки. Вокруг стола начинают собираться зрители. Гудят голоса.

– Проверим? – спрашивает Михаил.

Он начинает делать ставки на стриты и сплиты, покрывая фишками игровой стол. Количество фишек перед ним становится все меньше и меньше.

– Ставки сделаны, мадам и месье! Ставок больше нет!

На этот раз за шариком следят несколько десятков глаз. Он проскакивает и 17, и 23, делает еще несколько прыжков и успокаивается в ячейке...

– Зеро! – выдыхает вспотевший крупье, и с облегчением глядит на распорядителя.

Тот поворачивается и отходит.

– Выигрывает казино!

Зрители издают стон.

Только что на их глазах проиграно полмиллиона франков.

– Третьего раза не бывает, – повторяет Моник.

Проигрыш нескольких тысяч ее вовсе не озаботил. А может, и озаботил – на щеках под легким слоем пудры можно рассмотреть пятна румянца – но она это мастерски скрывает.

– Зато всегда можно начать все сначала, – говорит Терещенко, доставая бумажник. – Еще на 50 тысяч франков, месье... И по десять тысяч франков на 17 и 23!

Отхлынувшие было от стола зрители снова занимают свои места.

– Терещенко... – говорит женщина, коверкая сложную для француженки фамилию. – Это многое объясняет. Вы русский... Вы, русские, думаете, что ангел сидит у вас на плече, и проигрываетесь до сантима. А потом стреляетесь в висок.

– Я не такой... Может, потому, что я не русский, я – малоросс.

– Вы только что проиграли целое поместье, месье малоросс.

– И все еще не застрелился. Хотите, я покрою вам проигрыш?

– Я взрослая девочка и умею отвечать за собственные ошибки.

– Ставки сделаны! Ставок больше нет!

Шарик падает в ячейку 17.

– 17! Черное! Месье! Ваш выигрыш!

– Еще по десять тысяч на 17 и 23.

– Вы не умеете вовремя останавливаться, – констатирует женщина, раскуривая новую сигарету.

– Я не люблю останавливаться. Я люблю побеждать.

– У любой победы есть цена, – Моник выпускает вверх струйку сизого дыма.
– Ставки сделаны! Ставок больше нет!
Шарик прыгает по колесу. Зрители замерли. Терещенко не смотрит на рулетку.
Он смотрит на Моник, а она на него.
– 17. Черное, – говорит крупье севшим голосом. – Месье снова выиграл.
– По десять на 17 и 23, – повторяет Мишель.
– Это третий раз, – улыбается Моник. – Вы уже выиграли семьсот тысяч франков. А мы с вами знаем, что третьего раза не бывает...
– Ставки сделаны! Ставок больше нет!
Вращается рулетка, прыгает шарик.

Казино Монте-Карло. Ночь

У стола, где играли Мишель и Моник, по-прежнему стоит толпа зрителей. Но теперь рулеточный стол застелен черной тканью, словно в казино объявлен траур.

Возле стола стоят распорядитель и крупье, рядом с ними седой полноватый француз лет пятидесяти с подкрученными усами под гасконским носом. Это администратор казино.

– К сожалению, месье Терещенко, – говорит администратор, – казино вынуждено прекратить игру, так как не имеет возможности немедленно выполнить обязательства перед вами. Мы приносим свои искренние извинения. Часть фишек вы можете обменять на наличные в кассе, а на основную сумму вам будет выдан вексель, который вы сможете обналичить завтра с утра, как только откроется отделение банка «Кредит Лионе». Мне очень жаль, месье, что мы приносим вам неудобства.

По Мишелю видно, что он сильно выпил, но не настолько, чтобы потерять лицо.

– Жаль, – говорит он. – Мне только начало везти по-настоящему. Надеюсь, завтра вечером вы будете открыты?

Зрители смеются и переговариваются, обсуждая произошедшее. Кое-кто негромко аплодирует. Станный молодой русский, обыгравший казино, явно вызывает у почтенной публики симпатию.

Мишель и Моник вместе выходят из казино.

Кар-бой подгоняет к ступеням «роллс-ройс» Михаила и распахивает перед парой двери авто, склонившись, в ожидании щедрых чаевых – и получает их.

– Ты ездил сам? Без шофера? – удивляется француженка. – Пьяным?

Терещенко лишь пожимает плечами и садится за руль.

Машина выезжает на набережную. Дует ночной бриз. Гудит мотор.

– Куда мы едем? – спрашивает Мишель.

– К тебе, – отвечает Моник. – Хотя твой день рождения закончился, я осталась должна тебе подарок...

– Ну, тогда ехать недалеко...

Терещенко резко выкручивает руль и авто, скрипя тормозами, останавливается у подъезда гостиницы «De Paris Monte Carlo».

Сьют отеля «De Paris Monte-Carlo». Утро

Михаил просыпается от того, что на него смотрят.

У постели стоит Моник – уже одетая, причесанная и выглядящая не хуже, чем вчера вечером.

В окна бьет солнце. Слышны крики чаек и отдаленный шум моря. Постель смята, на ночном столике – серебряное ведерко со стаявшим льдом и почти пустая бутылка шампанского.

– Доброе утро, Моник!

– Доброе утро, Мишель.

– Ты уже уходишь?

Терещенко пытается привстать и обнаруживает, что он совершенно голый. Приходится прикрыться простыней.

Она садится рядом с ним на край кровати. Платье застегнуто под горло. На лице макияж, и даже в утреннем свете определить ее возраст – задача не из простых.

– Да, я уже ухожу... Вовремя уйти, дорогой, это искусство. Из казино, из постели, из чужой жизни... Когда-нибудь ты им овладеешь. Я вижу в тебе хорошие задатки.

Она целует Мишеля в щеку, тот пытается обнять ее, но она отстраняется мягко, но очень решительно.

– Урок номер два, дорогой. У нас все уже было, и все было хорошо. Зачем портить такую прекрасную случайную ночь? Не переедай! Тебе же понравился подарок?

– О, да, – улыбается Михаил.

– Значит, мы оба дали друг другу все, что могли. Прощай, мой азартный русский друг! Пусть тебя не покидает удача.

Моник выходит из номера, послав Мишелю воздушный поцелуй от дверей.

Терещенко ложится на спину и с наслаждением потягивается, сбрасывая с себя ночной дурман.

– Боже мой, – говорит он в потолок. – Как же это было прекрасно, черт побери!

Он снимает трубку прикроватного телефона.

– Да, Жерар! Благодарю! Завтрак в номер, пожалуйста. Как всегда. Но прямо сейчас – большую чашку кофе!

31 марта 1956 года. Монако

В густую почти черную жидкость падает кусочек сахара.

Появляется ложечка, помешивает кофе.

Пальцы охватывают ушко кофейной чашки и отрывают ее от блюдца.

Старик подносит напиток к губам и делает глоток.

Терещенко сидит на веранде кафе, почти у самой воды.

У входа в заведение появляется человек, что-то спрашивает у официанта и направляется к столику Михаила Ивановича.

– Здравствуйте, Михаил Иванович, – говорит он по-русски.

Терещенко встает для приветствия.

Они почти одного роста с Сергеем, Терещенко, правда, чуть выше, но незначительно. Оба в прекрасных костюмах и чем-то неуловимо похожи друг на друга – скорее всего, тем, что называлось франтовство.

– Здравствуйте, Сергей Александрович.

– Я благодарен вам за доверие, – говорит Сергей.

– Месье Никифоров, – улыбается Терещенко. – В моем возрасте доверие – это точный расчет, так что меня не за что благодарить. Меня заинтересовало ваше предложение потому, что я читал ваши статьи, они весьма недурны, и я не думаю, что для моего убийства господа чекисты станут использовать советского журналиста с мировым именем. Присаживайтесь. Кофе?

– Не откажусь.

– Гарсон! Честно говоря, сначала я удивился, – говорит Михаил Иванович. – Советский журналист – и такая тема... Скажите мне, Сергей Александрович, что изменилось в России? Вы же давно написали свою историю, в которую мы не вписываемся. Гучков, Родзянко, Милюков, Львов, я – министры-капиталисты, враги рабочего класса. Савинков – бандит и террорист. Керенский вообще оказался комическим героем...

– А он – фигура трагическая? – спрашивает Никифоров, вежливо улыбаясь.

– Мы все фигуры трагические. Я терпеть не могу Александра Федоровича, но история с его побегом в женском платье не выдерживает критики. Откровенная ложь.

– Ложь, повторенная много раз, становится правдой, Михаил Иванович...

– Фу! – говорит Терещенко, сморщившись, словно лизнул кислое. – Как банально!

– Однако – чистая правда.

– Вот почему я задаю вам вопрос – что вы собираетесь написать? Правду? Или новую сказку для вашего руководства?

– Хотите честно? – лицо Никифорова становится серьезным. – Это будет правдой в той степени, что мне разрешат. Я не всемогущ, сами понимаете. И не стану врать, что пришла вам гранка на вычитку – не пришла, а пришла, так не исправлю. Но в СССР изменилось многое, Михаил Иванович. После 1953-го страна стала другой. И продолжает меняться.

Терещенко закуривает.

– Ну хорошо, – говорит он. – В конце концов, я уже здесь и было бы глупо... На вычитку гранок, если откровенно, я не особо и рассчитывал... Как я понимаю, вас интересуют события февраля 1917 года?

– Не только. Но давайте начнем с них. Меня интересует ваше участие в Февральской революции...

– Никакого.

– Простите?

– Вы не ослышались. Никакого. Я не принимал участия в Февральской революции! Первого января у меня родилась дочь, и мне было не до революций, а в конце января я уже застрял в Киеве, куда ездил по делам семьи и военно-промышленного комитета, которым имел честь руководить.

Терещенко достает из кармана пиджака портсигар и закуривает.

Сигареты у него ручной работы, заказные, с черным турецким табаком. И дым от них плотный, как от сигары. Никифоров молча ожидает, пока собеседник продолжит начатую фразу. И тот продолжает:

– В стране творилось черт знает что, пассажирские поезда с конца января до середины февраля вообще не ходили. В общем, я едва доехал до Петрограда на перекладных, пользуясь своей принадлежностью к Красному Кресту, и угодил, что называется, с корабля на бал... Вообще, Сергей Александрович, если вам будут рассказывать, что Февральская революция была задумана и спланирована кем бы то ни было – не верьте. Восстание Волынского полка застало всех врасплох, а переход восставших на сторону Думы был полной неожиданностью как для царского Генштаба, так и для нас самих... Не стану кривить душой, я не любил самодержавие и считал вредным его дальнейшее существование. Я даже участвовал в двух заговорах с целью свержения самодержца, но не имел никакого отношения к событиям 27 февраля. Никто не имел к ним отношения – это результат цепи случайных провокаций, безответственной болтовни и намеренной дезинформации населения и солдатских масс. Так что можете записать первый сенсационный заголовок: «Признание министра-капиталиста Терещенко. «Февральская революция произошла сама по себе».

– Простите, Михаил Иванович, – говорит Никифоров, улыбаясь. – Есть у меня предчувствие, что беседа наша будет интересной и полной неожиданных поворотов. Раз уж вы дали разрешение на встречу со мной и не отказываетесь ответить на вопросы, уместно ли будет использовать магнитофон, чтобы записать все точно? Вы не будете против?

Некоторое время Терещенко раздумывает.

– Записывайте. Мне все равно. Я не уверен, Сергей Александрович, что вам когда-нибудь позволят расшифровать эти пленки, но должны же мы с вами хотя бы попытаться?

Никифоров открывает портфель, который принес с собой и ставит на столик небольшой катушечный магнитофон «Грюндиг». Нажатие на кнопку – и катушки начинают вращение.

– Сегодня 31 марта 1956 года, – говорит Сергей. – Девять часов утра. Первая пленка. Михаил Иванович Терещенко. Интервью. Михаил Иванович, расскажите о том, как для вас началась Февральская революция?

Терещенко ухмыляется.

– Как пафосно звучит вопрос... А началось все, господин Никифоров, с телефонного звонка. Раннего телефонного звонка. Было темно. За окнами не видно ни зги... Ночью несколько раз плакала Мими, и Марг, тогда моя жена, к ней вставала. Я уснул крепко только под утро, когда ребенок успокоился, и не сразу понял, что именно меня разбудило...

27 февраля 1917 года. Петроград. Квартира Терещенко. Раннее утро

В кабинете Терещенко звонит телефон, звонит настойчиво, выдавая трель за трелью.

27 февраля 1917 года. Петроград. Раннее утро

Улицы заснежены и пусты. Слышны винтовочные выстрелы, сухой кашель револьверов. Снова хлещут винтовки. Раздается отдаленный крик.

В темноте, за тяжелыми силуэтами домов начинает пульсировать пламя, подсвечивая небо пурпурным.

Сначала это один пожар. Потом невидалье разгорается еще один.

В некоторых окнах зажигается свет.

Квартира Терещенко. Раннее утро

Заспанный Мишель идет по коридору, кутаясь в халат, входит в кабинет и берет трубку.

– Терещенко слушает...

В трубке бубнит чей-то голос.

– И тебе доброе утро, Александр Иванович, – говорит Михаил в микрофон. – Что еще случилось?

Некоторое время он слушает, а потом говорит:

– Ну хорошо... Хорошо... Понял. Я поеду с тобой. Приезжай.

27 февраля 1917 года. Петроград. Утро. Квартира Терещенко

Терещенко открывает дверь. Он уже не в халате, хотя одет по-домашнему.

В прихожую входит бородатый человек в котелке и шерстяном пальто с бобровым воротником. Плечи его припорошены снегом.

– Между прочим, – говорит гость, – слышна перестрелка. Совсем рядом с твоим домом стреляют, за Миллионной, в казармах. И горит что-то... Как ты можешь спать в такое время?

– Когда я хочу спать, я сплю при любых обстоятельствах. Свойство организма. Раздевайся, Александр Иванович, – Терещенко принимает у вошедшего пальто и котелок, вешает их на вешалку у входа. – Прости, что не предлагаю позавтракать, но Любаша придет только в половине восьмого... А вот чаем могу угостить. И бублики нашел в буфете...

– Давай хоть чай, – соглашается ранний гость. – А то я продрог как собака! Коньяк найдется?

Терещенко с улыбкой кивает.

– Я по телефону не сказал тебе самого главного! – продолжает Александр Иванович. – Наш дорогой самодержец нынче ночью решил распустить Думу... Это лучшее, что он мог сделать, чтобы заварить настоящую кашу! Так что от того, чью сторону теперь возьмет Волынский полк, зависит – быть Думе или не быть... Вот такой кунштюк получается, господин Терещенко... Так что собирайся – и поехали. Собрание начнется через час в Таврическом дворце и нам обоим надо на нем быть...

– Дай мне десять минут на сборы.

– Я знал, что ты согласишься! – радостно восклицает бородач. – Был уверен!
Он махом опрокидывает в себя рюмку коньяку и, обжигаясь, запивает чаем.

– Я еще ни на что не согласился, господин Гучков, – возражает Терещенко от дверей. – Восстание одного полка – это еще не революция. Сейчас вмешается Протопопов с его жандармами и все волнения окончатся за сутки.

– Это может стать концом самодержавия, Миша, и началом конституционной монархии, – говорит Гучков с менторской интонацией. – А может, как всегда, окончится позором...

– Друг мой, не говори красиво... – Терещенко уже на пороге, но Гучков останавливает его.

– Оставь свои шутки, Михаил Иванович! Слишком далеко все зашло. Дураки мы будем, если не воспользуемся ситуацией, законченные дураки! Удача сама падает нам в руки! Распутина было мало, этой сумасшедшей немки было мало, бездарно просранной войны... А тут... – Гучков смеется, поднимая подбородок. Видно, что он возбужден событиями до крайности. – На святое покусился Николай Александрович! У нас в России все возможно, только привилегии не тронь – а он тронул! Думу распустил! И что? Теперь в Думе каждый мнит себя революционером и готов к решительным действиям. Все как один! Ты представляешь себе единодушно голосующую Думу? Я – нет! Жаль, он не сделал этого раньше!

Терещенко слушает голос Гучкова через приоткрытые двери.

Михаил уже одет. Он входит в спальню и нежно целует в щеку сонную жену. Несмотря на его осторожность, она просыпается.

– Ты куда, Мишель? – спрашивает она по-французски.

– Приехал Гучков, Марг, – отвечает ей Терещенко. – Царь распустил Думу, в казармах восстали солдаты. Мне нужно ехать... Я прошу тебя, дорогая, сегодня на улицу не выходить. Если что-то нужно, пошлешь Любашу. А лучше и ее не посылай. Опасно. Обойдемся тем, что есть... Обещаешь?

– Хорошо, милый. И ты будь осторожен.

– Конечно.

Терещенко на миг склоняется над детской кроваткой, в которой спит младенец.

– Если меня поздно не будет, не волнуйся – возможно, придется задержаться. Я постараюсь позвонить. Спи, Марг.

Она послушно закрывает глаза.

Подъезд дома

Гучков и Терещенко спускаются по лестнице.

На первом этаже возле дверей стоят несколько офицеров во французской форме.

Когда Терещенко с Гучковым проходят мимо, офицеры здороваются.

Один из них – рослый, с живым насмешливым выражением интеллигентного лица – подходит к Терещенко и Гучкову пожать руку.

– На этот раз все серьезно? – спрашивает он.

– Пока не знаю, Дарси, – отвечает Терещенко.

– А вы что скажете, господин Гучков? – француз закуривает, он явно мало спал этой ночью – глаза слезятся, на веках красная кайма, но мимика у него, несмотря на усталость, весьма выразительная. – Нам стоит волноваться?

– Был бы рад вас успокоить, Дарси, но не могу. Сами видите, что в городе стреляют, но сомневаюсь, что за одну ночь фронт развалится.

– О... – француз поднимает одну бровь, – понятно, что не за одну ночь. Не смею задерживать вас, господа! Будем ждать возвращения де Люберсака. Может, хоть ему что-то разъяснят!

– Им уже сообщили, – говорит Гучков вполголоса, выходя в сырое февральское утро. – И англичанам сообщили. И американцам. Всем уже сообщили. Революция в воюющей стране! Фронт рядом! Представляешь, какая сейчас начнется неразбериха?

– Или Протопопов пришлет войска, – возражает Терещенко, садясь в ожидающую их пролетку. – И наведет порядок. И никакая неразбериха не начнется. Ни здесь, ни на фронте. Везде будет тихо, как зимой на деревенском кладбище...

– Вот поэтому, – Гучков садится рядом с ним и запахивает свой барский меховой воротник так, чтобы наполовину спрятать лицо от ветра, – я тебя и позвал. Мужчинам не принято говорить комплименты, но я скажу... Ты не трус, и не болтун, и не дурак – на тебя можно положиться. Я уверен – ты не предашь, а я воевал, людей чувствую кожей. Впереди несколько дней, когда все решится. И если мы не сделаем, что должно, то второго шанса нам не видать. А для нас все кончится очень даже печально... И не только для нас, Миша, для все страны. Мы – ее последняя надежда.

Февраль 1956 года. Архив КГБ СССР.

Комната для чтения документов

В комнате сильно накурено. Висят сизые пласты дыма.

– Слушай, капитан... А зовут тебя как? – спрашивает Никифоров. – Неудобно же... Капитан да капитан. Я вроде не в форме, человек сугубо гражданский... Давай, что ли, по имени? Мы ж почти погодки!

– Владимир я, – отвечает капитан нейтрально.

– А я – Сергей.

Никифоров протягивает капитану руку. Тот с небольшой неловкостью ее пожимает.

– Ну, вот и познакомились, – резюмирует Сергей. – Давай, Володя, чаю попьем...

– Давай...те...

– А тут проветрить можно? А то накурили мы с тобой, коллега, хоть топор вешай!

– Попробуем.

Дверь в комнату приоткрыта – в щель между полотном и косяком вставлена спинка стула. Под потолком крутится вентилятор, месит тяжелый воздух лопастями и дыма в комнате уже гораздо меньше. Никифоров ффировольно сидит на краю стола, капитан с другой стороны столешницы – официально, на стуле. Оба прихлебывают чай.

На столе бумаги и папки. Много, очень много папок и бумаг.

– А если не по порядку? – задает вопрос Сергей Александрович и тут же поясняет. – Вот ты эти архивы роешь третий месяц. Ты – профессионал. Выводы делаешь, обобщения...

– Делать выводы в мои обязанности не входят.

– Но аналитику готовишь ты?

– Нет. Я готовлю бумаги для аналитиков. Выполняю свои прямые обязанности, Сергей Александрович. Остальное решает начальство.

– Хорошо, – усмехается Никифоров. – Не хочешь показывать себя значимым на людях – не надо. Но то, что ты парень непростой, умный и наблюдательный, видно невооруженным глазом. Давай-ка между нами и только между нами – ты мне свои мысли откроешь. Я о твоих соображениях никому сообщать не собираюсь, но они важны – ты сэкономишь мне кучу времени. Что тебя удивило, капитан? Что показалось странным, необычным в деле Терещенко? Чего я не найду в архивах, даже если проведу здесь месяц? Это не обязательно то, что ты направил аналитикам, понимаешь, Сергей?

– Наверное... – он колеблется. Руки теребят шнурок на папке.

– Ну?

– Семья объекта...

– Михаила Терещенко, – поправляет его Никифоров. – Не называй его объектом. Он для нас сейчас самый дорогой человек. Семья Михаила Ивановича Терещенко... И что показалось странным?

Капитан недолго думает, а потом говорит:

– У Михаила Терещенко две сестры и брат. И ни у кого из них не сложилось нормальной семьи до тех пор, пока они оставались под влиянием матери. Отношения в семье были очень сложными. Но никто из детей не оставил мать вниманием, несмотря на ее властолюбие и тяжелейший характер.

– Но Терещенко был женат?

– Был, даже дважды! Но это ни о чем не говорит... Он прожил с женой много лет, не оформляя даже гражданского брака, а женился уже на излете отношений, незадолго до развода. Длинная история...

– Так сократи! Интересно же!

– Боюсь, что коротко не получится...

– Все короче, чем читать... – улыбается Никифоров.

Он листает скоросшиватель с одним из томов дела. Фотографии. Желтоватые листы с рукописным текстом (строчки с ятями, почерк изящный, твердый – наверное, письма). На одной из карточек Терещенко возле кабриолета. Сергей Александрович приглядывается.

– У него «роллс-ройс», – говорит он. – Неплохо, надо сказать.

– Ну да... – соглашается капитан. – Самая роскошная машина на то время. 1907 год. Он познакомился со своей женой в 1907 году. В Париже. На карнавале «Битва цветов»...

1907 год. Париж. Карнавал «Битва цветов»

По брусчатке на авеню Опера катятся украшенные цветами повозки. С них девушки в карнавальных костюмах и масках бросают в танцующую и веселящуюся толпу букеты. Играют оркестры, летит серпантин, запутывая всех и вся.

Столики кафе выставлены на края тротуаров, и за столики то и дело подсаживаются прохожие парижане, чтобы выпить стаканчик вина.

Столы для публики посolidнее стоят на застекленных верандах дорогих ресторанов, окна распахнуты, чтобы впустить вечернюю прохладу, но вход охраняется бдительными гарсонами крепкого телосложения, дабы случайный прохожий, хвативший лишку, не помешал господам отдыхать.

Мишель с сестрами, его дядя Александр Николович с супругой и еще одна супружеская пара, пригласившая семью Терещенко на этот ужин, как раз на такой веранде и сидят.

Ресторан этот, расположенный аккурат на углу площади Оперы и бульвара Капуцинов, дорогой, публика в нем солидная, хорошо одетая, но явно не из высшего парижского света. Сюда приходят не по сословному принципу, а потому, что могут себе это позволить. Парижане, вообще, достаточно демократичны, когда речь идет о веселье, любви и выпивке.

Михаил сидит крайним слева за длинным столом и в беседе участвует вяло, только когда к нему обращаются. Он пьет вино и не сводит глаз с девушки за уличным столиком в нескольких шагах от него.

Девушка молода – скорее всего, ровесница Мишеля – хороша собой, одета небогато, но очень опрятно и со вкусом. О таких говорят – не красавица, но в ней определенно что-то есть! Она довольно коротко стрижена по последней парижской моде, к пышным волосам приколота шпильками изящная шляпка, а чуть ниже декольте красуется великолепная белая роза. Девушка пышногруда, и цветок лишний раз обращает на это внимание мужчин.

Словно чувствуя на себе взгляд Михаила, девушка несколько раз поворачивается в сторону веранды, но Терещенко быстро отводит глаза. Пелагея замечает, чем занят брат, и едва

заметно улыбается. Михаил не прислушивается к разговору родни и разглядывает незнакомку за столиком со все возрастающим интересом.

А та сидит за столиком одна, хотя, скорее всего, ее спутник недавно ушел – несколько сломанных сигарет в пепельнице явно выкурены не ею – девушка не курит: перед ней бокал белого вина и несколько бисквитов с фруктами на небольшой тарелке.

На Париж опускаются сумерки. Веселье продолжается, люди все прибывают и прибывают. Несколько раз Мишель теряет незнакомку из виду и, в конце концов, встает и решительно направляется в ее сторону.

– Миша не выдержал, – говорит Пелагея сестре Елизавете, указывая подбородком на вышедшего наружу брата. – Весь вечер смотрит на эту француженку в зеленом, а теперь побежал знакомиться...

– Вы о чем, девочки? – спрашивает тетушка Елизавета Владимировна, наклонившись к сестрам, и замечает племянника, остановившегося у столика незнакомки. – А, вот оно что... Не знала, что Мишелю по душе белошвейки!

– Она не похожа на белошвейку, – возражает Пелагея.

Михаил пытается присесть рядом девушкой, но та что-то говорит, и Терещенко остается стоять.

– Кажется, – рокошет басом Александр Николович, обращаясь и к семье, и к друзьям, – мой любимый племянник сейчас получит укорот. Барышня явно ему не рада.

– На ее месте, – присоединяется к беседе жена дядинного друга, – я бы задыхнулась от счастья. Самый богатый наследник России, молодой сахарный король пытается с ней познакомиться, а она... Кстати, девочка хороша собой! У вашего племянника отличный вкус.

– Отличный, – соглашается Александр Николович, раскуривая сигару. – Но непостоянный. Сегодня вкус к одной, завтра к другой – уж сколько раз Елизавета Михайловна пыталась ему пару найти, а ничего не получалось. Я не припомню, чтобы Мишель с кем-нибудь заводил длительные отношения...

– Дядя! – предупреждающе говорит Пелагея. – Хватит вам, право слово! Зачем вы его обижаете? Не заводит? Значит, еще не встретил свою единственную.

– Он любит сестер, – поясняет Александр Николович собеседнице благодушно, – и они за него горой! Не переживай, Пелагеюшка, не обижу я твоего младшенького! Он толковый парень – полиглот и умница. Хоть ему вся наша торговля скучна, но хватка бульдожья, настоящая, терещенковская у него есть в избытке – любви к делу пока нет, а хватка есть. Упорен, не отнимешь! Но к такому характеру большая удача нужна... И с женой должно повезти, и с друзьями...

– Ну, так тебе же с женой повезло, – замечает Елизавета Владимировна. – И Мишелю повезет. Он у нас умный, красивый, богатый – ему и карты в руки... Смотри-ка! А эта белошвейка с характером! Все, молчим-молчим, ни слова! Он идет сюда!

Девушка демонстративно поворачивается к Михаилу спиной, показывая, что разговор закончен. Покрасневший и разобиженный Терещенко возвращается за стол. Он не на шутку зол, губы поджаты точно как у матери, Елизаветы Михайловны, когда она чем-то недовольна.

Все, кроме Пелагеи, делают вид, что ничего не заметили. Только сестра говорит ему тихонько:

– Не хочет знакомиться?

– Отстань! – огрызается Михаил и тут же спохватывается. – Прости, Пелагея... Просто... Я, наверное, повел себя слишком фривольно.

– Брось, братец... Все можно исправить. Девушки любят смелых.

– Я уже проявил смелость, – резонно замечает Михаил, закуривая ароматную турецкую сигарету. – Не вышло. Ну, значит, не вышло...

– А еще, – продолжает Пелагея, – девушки любят настойчивых. Так что я, как старшая сестра, советовала бы попытку повторить... А вдруг это судьба?

– Ты думаешь? – с сомнением в голосе спрашивает Михаил. – Ты такая романтичная, Пелагея...

И тут же сам перебивает себя.

– Видела? У нее на груди роза!

– Ну и что? Роза – и роза! Я, как понимаешь, ее грудь внимательно не рассматривала!

– Перестань! – улыбается он. – Мой любимый цветок! Как ты думаешь, это знак?

– Знак, знак... – успокаивает его Пелагея. – Но если ты не пойдешь за ней прямо сейчас, то этот знак пропадет впустую.

Мишель давит сигарету в пепельнице и снова выходит из веранды.

Объект его внимания действительно собирается уходить. Увидев Михаила, девушка хмурится и недовольно вздергивает округлый подбородок.

– Я прошу прощения, если обидел вас чем-то, – говорит Мишель. – Я этого не хотел. Прошу о двух вещах – назовите свое имя и дайте мне шанс понравиться вам. Девушка молча кладет несколько монет на блюдечко со счетом.

Вокруг кипит карнавальная толпа. Ленты серпантина падают на столы и на плечи прохожих. Мимо проезжает платформа, сидя на которой играет небольшой духовой оркестр. Прерывая Мишеля, вверх взлетают огненные струи фейерверка. Толпа восторженно ревет, и этот рев съедает слова Терещенко.

Пелагея наблюдает за молодыми людьми со своего места. Лицо у нее грустное, усталое. Тетушка Елизавета Владимировна искоса бросает на нее взгляд и почему-то с сожалением качает головой.

– Просто придите сюда на ужин. Это ни к чему вас не обяжет.

Михаил говорит куда более уверенно, чем начинал. Робость и растерянность, вызванные отказом, уже исчезли, но и разозливший незнакомку напор тоже пропал.

– Приходите! И я расскажу вам, как по Москве и Петербургу бродят медведи. Или почти настоящие русские стихи! Вы когда-нибудь слышали хоть одно русское стихотворение?

На этот раз девушка улыбается, едва заметно, краешком губ.

– Дайте мне возможность загладить неловкую попытку знакомства... – повторяет Михаил. – Прошу вас!

– Хорошо, – говорит девушка. – Я подумаю.

– Вы обещаете прийти?

– Я обещаю подумать.

У нее красивый голос. Низкий, волнующий, начисто лишенный визгливых ноток.

– Уверен, что вы решите все в мою пользу! Так что? Завтра? В семь вечера? Здесь?

Она пожимает плечами.

– Возможно.

– И кого я буду ожидать? – спрашивает Мишель. – Как ваше имя?

– Я назовусь, если решу прийти, – отвечает она. – А если не решу, то лучше вам и не знать...

Час спустя. Париж. Угол бульвара Капуцинов и площади Оперы

Карнавал заканчивается. Все тротуары в лепестках, растоптанных цветах, конфетти и серпантине. На город спускается ночь, но спать никто не собирается. Горят огни, из кафешантанов, что в изобилии открыты на Бульварах, доносятся музыка, смех, громкие голоса, чье-то пение...

От ресторана отъезжает авто Мишеля.

С переднего сиденья машет рукой Пелагея, сестры Наденька и Елизавета сидят на заднем, Михаил за рулем.

Александр Николович и Елизавета Владимировна едут в салоне своего «Кадиллака», за рулем – шофер.

Час спустя. Париж. Угол бульвара Капуцинов и площади Оперы

Лимузин трогается с места и едет в сторону Вандомской площади.

– Поговорил бы ты с ней, – говорит Елизавета Владимировна чуть погодя. – Все-таки шурин, как-никак! Может, одумается? Ведь девку жалко. Пропадает! Хорошая же девка, Пелагея...

– Бесполезно, – басит Александр Николович. – Ты же знаешь, она никого не слушает. Ваню покойного не слушала, он ей слова поперек не мог сказать, и меня не станет. Мы – Терещенки – происхождения простого: из казаков и мещан. А Лизавета Михайловна дворянских кровей. Мезальянс вышел! Вот теперь Лизавета и полагает, что жених ее дочери должен быть не меньше чем князем. А еще лучше – великим князем. А на всех невест великих князей не напасешься...

– Пелагее уже 23... Хоть сейчас не говорят «старая дева», но... Сам знаешь.

– Знаю. Но приданое у нее изрядное, вопрос решится – так или иначе... Вернее, рано или поздно.

– И тебе, Саша, ее ничуть не жаль?

Александр Николович вздыхает.

– Жаль, Лизонька, жаль. Но не будет пользы от моих вмешательств. И ты это знаешь, и я это знаю... Не хочу я со свояченицей отношения портить. Я – управитель общего дела, а в семью Ванину, светлая ему память, лезть права не имею. Семья – не завод и не мельница, не рудник какой, а дело сугубо личное. Хочешь, я с Варварой поговорю, душа моя? Может, она на разговор сподобится?

– С Варварой я и сама поговорить могу. Толку— то? Вот будет конфуз, если Миша приведет в дом эту белошвейку...

– Ну, это вряд ли, – возражает Александр Николович. – А если и так... Не будет дела. Не допустит этого Лизавета Михайловна. Никогда не допустит.

Вилла «Марипоза», комнаты Елизаветы Михайловны

– Я не хочу даже слышать о ней!

Елизавета Михайловна раздражена. Глаза нехорошо сверкают, рот поджат, голос срывается на высокие ноты.

– Я терплю твои выходки, твои вечеринки с хористками, твое пьянство, проходной двор в твоей постели и то, как ты соришь деньгами, но, ради Бога, не приводи к нам в дом неизвестно кого!

Михаил стоит перед матерью, как нашкодивший гимназист перед школьным надзирателем.

– Мама! Она не неизвестно кто! Маргарит – женщина, которую я люблю.

– Твоя Маргарит! Она кто? Кто она такая, чтобы стать женой моего сына? Чтобы войти к нам в дом? Скажи мне, Мишель?

– Да какая мне разница?! – он едва не переходит на крик. – Мама, открою тебе тайну: не все в этой жизни женятся на графинях!

– Не все получают в наследство то, что получил ты! Имей уважение к отцу! К деду!

– Причем тут отец и дед!? Ты вышла за муж за моего отца, хотя он не был дворянином!

– Твой отец...

– Что «твой отец»?

– Не сравнивай твоего отца с этой цветочницей!
– Она не цветочница! И не белошвейка!
– Да? А ты не задумывался, чем она зарабатывает себе на жизнь? Может, назвать еще несколько профессий?
– Мама!
– Не вынуждай меня повторять...
– Я совершеннолетний взрослый человек, мама! Я волен жениться на ком хочу!
– Попробуй... – говорит Елизавета Михайловна угрожающе. – Ты, конечно, официальный наследник, но прекрасно знаешь, что каждая копейка, которую ты тратишь лично на себя, должна быть согласована с Фондом Терещенко. А фондом управляю я. Единолично. Попробуй жениться на этой девке без моего благословения – и посмотришь, что будет!
– Зачем ты оскорбляешь Маргарит, мама?
– А как мне назвать женщину, которая живет с моим сыном без венчания? Целомудренной?
– Мы любим друг друга!
– Я уже слышала этот бред. Разговор закончен. Я никогда не дам разрешения на твой брак, пока не сочту твою избранницу достойной... Хочешь – живи с ней, но фамилию Терещенко она носить не будет.
Михаил идет к дверям.
Мать смотрит ему вслед – лицо неподвижно, но в глазах горит торжество победительницы.

Съемная квартира Маргарит в Париже. Утро

Маргарит просыпается от звонка, набрасывает халат и открывает дверь. За дверью Мишель с огромной корзиной цветов. Они с девушкой обнимаются. Страстные объятия, поцелуи. Розы рассыпаются по полу. Одежда сорвана. Пара занимается любовью. Когда все заканчивается, молодые люди остаются лежать в постели. Мишель курит.
– И что сказала твоя мать? – спрашивает Маргарит.
Терещенко молчит.

Глава вторая

Маргарит

Февраль 1956 года. Архив КГБ СССР. Комната для чтения документов

– А ведь она не была белошвейкой, – констатирует Никифоров, листая папку.

– Нет. Ее семья родом из Дижона. Небогатая, но вполне приличная. Образование ей дать не могли, на это денег в семье не было. В восемнадцать она уезжает в столицу, находит работу и самостоятельно ходит на лекции в Сорбонну. Образ жизни ведет достаточно замкнутый. В предосудительном поведении замечена не была...

– Специально выясняли?

– Запрашивали посольских. Сами понимаете, довольно сложно было не нашуметь, но, вроде, все обошлось. У них там большой войны не было, документы все в порядке. Долго искать не пришлось. Мадмуазель Ноэ работала флористкой в небольшом магазинчике с оранжереей в районе рынка Бобур. Потом этот магазин купит Терещенко, чтобы подарить своей будущей жене. Она везде сопровождает его, но до определенного момента никогда не пересекает порога дома его семьи.

Июнь 1910 года. Монте-Карло. Театр

Маргарит и Мишель сидят в ложе и слушают выступление Федора Шаляпина.

Из ложи напротив на них смотрит Елизавета Михайловна. Рядом с ней сидит Пелагея с сестрами и Варвара Ханенко, тетка Мишеля. Елизавета Михайловна не обращает внимания на сцену – ее бинокль направлен на ложу сына.

– Он выводит ее в свет, – говорит она негромко, но в голосе такая неприязнь, что Варвара невольно поеживается. – Он не стесняется появляться на людях с этой девкой...

– Мама, – шепчет Пелагея. – Не надо.

– Он смеет...

– Лиза, – перебивает ее тихонько Варвара. – Он на ней все-таки не женился. Ты этого хотела? Давай-ка, дорогая, слушать Шаляпина!

Елизавета Михайловна продолжает смотреть на сына и его подругу в бинокль.

Шаляпин заканчивает очередную арию. Зал взрывается аплодисментами.

За кулисами театра

Терещенко с Маргарит подходят к Шаляпину..

– Михаил Иванович! Дорогой! – гудит Федор Иванович, раскрывая объятия.

Они с Терещенко обнимаются.

– Как я рад вас видеть!

– А я вас рад еще и слышать! – шутит Михаил. – Какой концерт, Федор Иванович! Если бы я не любил оперу, то услышав вас, изменил бы мнение! Позвольте представить – моя близкая подруга Маргарит Ноэ!

Шаляпин целует Маргарит руку.

– Мадмуазель! Вы прекрасны!

Маргарит смотрит на певца без смущения.

– Михаил Иванович, она диво как хороша! – говорит Шаляпин, не выпуская руку девушки. – Пока мы, бедные актеры, в поте своего лица добываем хлеб насущный, вы, богатеи, забираете самых красивых девушек!

– И это говорит мне человек театра! – подыгрывает Шаляпину Михаил. – Театр – это настоящий цветник! А вы заглядываетесь на наш скромный садик!

– Но какие розы в нем цветут! – басит Шаляпин, смешно поднимая брови. – Какие розы!

– Мы зашли пригласить вас на ужин, – продолжает разговор Терещенко. – Авто ждет нас у подъезда...

Вечеринка у Михаила Терещенко. Съёмный особняк с садом

Столы установлены прямо на траве. Накрыт богатый фуршет, с настоящим шиком – с шампанским, икрой, стерлядью и ананасами.

Под легким навесом рояль, причем не кабинетный, а концертный. Вазы с живыми цветами, вазы с фруктами, хорошая посуда, официанты во фраках.

Михаил и Маргарит в роли хозяев дома. Рядом с ними Пелагея – раскрасневшаяся от удовольствия, шампанского и хорошей компании.

Шаляпин – гвоздь программы. Он шутит, смеется, много пьет – вокруг него постоянный круговорот гостей.

Публика разношерстна – тут тебе и представители богемы (и русской, и французской), и люди в мундирах, и золотая русская молодежь, и множество молодых девушек самого разного происхождения. Они напоминают бабочек – яркие, легкокрылые, в свободных платьях по последней моде.

Играет небольшой струнный оркестр.

Гости пьют, едят, разговаривают. Чувствуется, что все друг друга знают, а те, кого не знают, все равно чувствуют себя, как дома – такая атмосфера царит на вилле.

Мишель с Маргарит постоянно переходят от стола к столу, от группы к группе. Это не только обязанности хозяина, это еще и желание Михаила показать свою подружку знакомым. Она действительно хороша и счастлива, что видно невооруженным глазом. Ей льстит внимание Мишеля и его друзей. Ей нравится изображать хозяйку прекрасной вечеринки, хотя на ней она такая же гостья, как и все остальные.

– Познакомься, Сергей, – обращается Терещенко к невысокому человеку с усиками и добрым, с мягкими чертами, лицом и грустными глазами бассета. – Это очень дорогой мне человек – Маргарит Ноэ. Маргарит – этот добрейший месье не кто иной, как господин Дягилев. Проводник русского искусства в Европу и европейского – в наши пенаты. Без его участия сегодняшний концерт Федора Ивановича не состоялся бы...

– Мадмуазель Маргарит! – Дягилев целует ей руку. – Рад знакомству! Мишель несколько преувеличивает мою влияние! Концерт Федора Ивановича в Монте-Карло – его заслуга. Увы, моя антрепренерская деятельность пока не приносит прибыли... И без помощи Михаила мне пришлось бы туго...

– В следующем году, Сергей, – говорит Терещенко, снимая бокалы для всех троих с подноса подскочившего на полусогнутых официанта, – следует привести в Париж балет. Твои «Исторические русские концерты» бесподобны, но слишком серьезны для здешней публики! Рахманинов – это прекрасно! Римский-Корсаков изумителен! Но если ты хочешь аншлага – покажи Франции красивые женские ноги и чувственный танец, и французы не смогут устоять! Давайте-ка выпьем за твой успех!

Он приобнимает Маргарит за талию.

– Смотри, милая, здесь собрался цвет русского искусства. Вот это – любимый художник Дягилева – Леон Бакст. Он пишет потрясающие портреты, но его декорации к спектаклям – это нечто!

Не может быть! – внезапно восклицает Дягилев, заметив в толпе высокую женщину с прической-«бабеттой». В голосе его некоторое напряжение. – И товарищ Герман здесь?

Михаил сначала недоуменно оглядывается, а потом смеется.

– Ты о Гиппиус? Я пригласил ее с супругом. Бываю иногда на ее парижских субботах... Это, Маргарит, мать всех символистов с мужем – знаменитым Дмитрием Мережковским, философом и гуманистом, известным на всю Европу. Удивительного ума женщина! Обожает писать под мужскими псевдонимами, чтобы никто не поставил ей в упрек стальную логику и жесткость стиля! А как пламенна! Просто Робеспьер в юбке!

– А второй мужчина кто? – спрашивает Маргарит.

Терещенко бросает быстрый взгляд на Дягилева, тот замечает смущение Михаила и делает попытку улыбнуться.

– Это Дмитрий Философов, друг семьи.

– Вот как? – удивляется Маргарит.

Дягилев пожимает плечами, он явно растерян и огорчен.

– Вы, мадмуазель Ноэ, совершенно не знаете нравов нашей богемы. Иначе бы не удивлялись. Это я должен удивляться...

– Как это она приняла твое приглашение? – замечает Дягилев, повернувшись к Терещенко. – Те взгляды, что она продвигает в последнее время...

– С ее стороны было бы глупо не прийти, – отвечает Терещенко, – Но я и понятия не имел, что они придут втроем. Ты уж прости меня, Сережа...

Маргарит смотрит на него с непониманием во взгляде.

– Ерунда, – говорит Дягилев и кривит угол рта. – Давай не будем. Во-первых, понятно, что все хотят послушать Шаляпина, не заплатив и франка за билет – это уже прекрасно. Во-вторых, Сережа, здесь сегодня можно увидеть всю русскую Францию и кто пропустит такую возможность: на других посмотреть и себя показать?

– И для этого не придется бродить по брассериям и притонам Монмартра, – подхватывает Терещенко с облегчением. – Смотри, Марг... Какие люди! Видишь, кто любезничает с моей сестрой? Это Андрей Белый – мой большой друг и несомненный гений. Вот тот седой... Да, тот что ест канапе с икрой, мужчина с грустным взглядом – Саша Гликберг, он же Черный... Самое острое перо России! Ты читал его «Чепуху»?

– Витте – родиной живет
И себя не любит.
Вся страна с надеждой ждет,
Кто ее погубит! —

декламирует кто-то за их спиной приятным голосом.

Все трое поворачиваются.

Перед ними невысокий узкоплечий человек в летнем костюме, скуластый, с внимательным прищуром темных глаз. Он брит, но с усами, и лысоват, несмотря на молодой возраст.

– Я прошу прощения, – говорит человек с улыбкой, – за то, что вторгаюсь в вашу беседу, но так как мы с Михаилом Ивановичем были представлены друг другу, то я счел возможным подойти. Тем более, что стихи Черного – моя большая слабость! У цензоров начинается истерика при первом же упоминании его имени! Вы помните меня, господин Терещенко? Мы виделись это зимой у Мережковских...

– Вы... Да, конечно, – вспоминает Мишель. – Прошу прощения, что сразу не узнал. Вы же писатель? Ропшин, кажется? Так? Вас еще Зинаида Михайловна хвалила чрезвычайно!

– Совершенно верно, – Ропшин чуть склоняет голову в знак согласия. – Ропшин, Виктор Викторович.

– Это Маргарит Ноэ...

– Мадмуазель...

– Дягилев, Сергей Петрович, – представляется Дягилев, с интересом разглядывая писателя.

– Наслышан. Рад знакомству. – кивает Ропцин. – Я подошел поблагодарить хозяина за прекрасный вечер. Вынужден уехать ночным поездом, к сожалению – дела. Могу ли я попросить вас о встрече на следующей неделе? В Париже? Буквально несколько минут, Михаил Иванович.

– Конечно, Виктор Викторович.

– Благодарю. Мадмуазель Ноэ! Месье Дягилев!

– Он военный? – спрашивает Маргарит, когда Ропцин уходит. – Так себя держит...

– Не знаю, – Терещенко пожимает плечами. – Писатель. Приятный человек, не так ли?

– Весьма мужественный, – говорит Дягилев. – И привлекательный... Я оставлю вас ненадолго!

Когда он удаляется, Марг и Мишель переглядываются и, с трудом сдерживая смех, скрываются в темную аллею.

– Ты не богема? – спрашивает Марг, пока Мишель торопливо целует ее шею. – Надеюсь, ты у меня без странностей?

Играет музыка – вступление к арии – и тут же замолкает.

Слышен голос Шаляпина:

– Михаил Иванович! Мишенька! Вы где?

– Идем! Тебя ждут! – Марг отталкивает любовника.

– Мы здесь!

Они выходят на свет, к импровизированной сцене, под свет ламп.

– Михаил Иванович! Друг мой! – басит Шаляпин. – А почему бы нам с вами не спеть дуэтом!

– С вами? – ужасается было Терещенко.

– Со мной... Со мной... Да вы не бойтесь! Если что, я вам помогу! Маэстро, начинаем! Да идите же сюда, Миша!

Терещенко отпускает руку Марг и становится рядом с Шаляпиным, у рояля.

Шаляпин приобнимает его за плечи и начинает петь. Мишель подпевает, сначала робко, а потом все увереннее и увереннее. У него весьма приятный баритон.

Марг смотрит на Терещенко влюбленными глазами.

Такие люди вокруг него! Такие люди!

Февраль 1956 года. Архив КГБ СССР. Комната для чтения документов

– Погодите-ка... Погодите-ка... Ропцин. Неужели...

Никифоров улыбается, щелкает пальцами...

– Ну, скажи мне, капитан! Я прав?

Капитан улыбается в ответ.

– Я знаком с операцией «Трест», – продолжает Никифоров. – Читал артузовские архивы... И, если память мне не изменяет... Ропцин – это псевдо Бориса Савинкова.

– Все верно, Сергей Алек...

Никифоров укоризненно смотрит на собеседника.

– ...Сергей... – поправляется тот. – Контакт зафиксирован. Есть соответствующее донесение агента. В то время Савинков пытался всеми силами возродить Боевую Организацию Эсеров, искал деньги... И многие давали.

– Ничего удивительного, – дергает бровью и щекой Никифоров. – Глупо было бы недооценивать Бориса Викторовича. Он был умный и опасный враг. Жестокий, но не растерявший своих идеалов. Артузов его переиграл, но сломать Савинкова не удалось. Это была их единственная встреча на то время?

– Нет. Агентурное донесение указывает на то, что еще одна встреча состоялась. Причем тут же, в Париже, буквально через считанные дни.

Июнь 1910 года. Дом Терещенко в Париже. Кабинет.

В кабинете Ропшин и Терещенко

– Как и обещал, много времени у вас не займу, – говорит Ропшин. – У Мережковских говорят, что вы поддерживаете мысль о том, что России нужны перемены. Я правильно понял?

Терещенко с интересом смотрит на сидящего перед ним человека, а потом кивает.

– Знакомы ли вы с работами теоретиков революции?

– Знаком.

– Поддерживаете?

– Отчасти.

Ропшин улыбается.

– Бакунина или Маркса?

– Это не мои кумиры.

– Рано или поздно придется определиться с симпатиями.

– Я не тороплюсь. Но я действительно уверен, что России нужны перемены.

– Перемены не происходят сами собой. Их делают люди.

– Я знаю.

– Скажите, Михаил Иванович, готовы ли вы поддержать таких людей?

– Материально? – спрашивает Терещенко.

– Можете дополнительно оказать моральную поддержку.

– О какой сумме идет речь?

– О суммах, Михаил Иванович, о суммах. Это процесс, который не происходит быстро. Я просил бы вас финансировать нашу деятельность на постоянной основе...

– От лица какой партии вы говорите, Виктор Викторович? – внезапно перебивает Терещенко. – Кто вы? Анархист? Социал-демократ? Социалист-революционер?

– Последнее, – сообщает Ропшин после недолгого раздумья. – У вас есть предубеждение против эсеров?

– За последний год, господин Ропшин, я профинансировал несколько революционных партий, так что мой вклад в возможные перемены уже достаточно весом. Поясните мне, почему я должен помогать вам, а не другим?

– Собственно говоря, у меня нет аргументов, за исключением того, что моя партия самая влиятельная, многочисленная и сильная из всех. У нас есть все шансы стать новой властью в стране, а мы умеем помнить своих друзей. Многие ваши коллеги дальновидно помогают не кому-то одному, а всему революционному процессу. Вы ведь любите играть, господин Терещенко?

– О да... Я игрок и, говорят, неплохой.

– В забеге на ипподроме одна лошадь обязательно придет первой. И если вы ставите на всех лошадей, то в проигрыше не будете никогда. Вам понятна ассоциация?

– А вы, господин Ропшин, циник.

– Я реалист. Вы – богаты. Вы, как и мы, считаете, что самодержавие – зло для России. Я не думаю, что вы станете бомбистом, но уверен – как равнодушный человек либеральных взглядов не останетесь в стороне от революции. Оставить след в истории одними деньгами невозможно, а мы – это ваша возможность расписаться на теле вечности.

– А вы еще и поэт...

– Я прозаик...

– Тысяча рублей в месяц. – сказал Терещенко, доставая чековую книжку. – Могу выписывать чек, могу переводить средства на указанный вами счет. Сумма не обсуждается.

- Щедрое предложение.
- Более чем.
- Сегодня предпочтительнее чек.

Мишель выписывает чек и передает его собеседнику.

- Благодарю.
- Так вы, Виктор Викторович, все-таки литератор? Или профессиональный революционер?

– Я, Михаил Иванович, сейчас работаю над романом. Большим романом. Но только тогда, когда не занят делом всей моей жизни – будущим России.

- Что ж... Как закончите книгу, пришлите экземпляр – любопытно будет прочитать.
- С удовольствием, Михаил Иванович. Разрешите откланяться?

Они пожимают друг другу руки.

В дверях Ропшин сталкивается с Дориком – Федором Федоровичем – кузеном Терещенко, раскланивается и выходит прочь.

- И кто этот «юноша бледный со взором горящим»? – спрашивает кузен.
- Литератор, мы познакомились на одной из суббот у Мережковских... Денег просил.
- Держу пари – он карбонарий! – говорит Дорик, падая на кожаную кушетку.
- Откуда ты знаешь? – улыбается Терещенко.
- Тут каждый второй карбонарий просит денег на русскую революцию... – морщится

Дорик. – Папа говорит, что удобнее всего делать революцию из Парижа. Или из Швейцарии. Безопасно, климат прекрасный, кухня хорошая, вина превосходны. Опять-таки, сыр вкусный... Правда, жить на широкую ногу стоит немалых денег и их порой не хватает на революционную деятельность!

- И дядя дает?

– Наверное, дает, но не всем. К нему господа революционеры тоже ходят караванами – на всех не напасешься. Спроси его, он тебе ответит, как масон масону...

- Дорик! – восклицает с укоризной Терещенко.

– Секрет Полишинеля, – смеется Федор Федорович. – Все мало-мальски обеспеченные люди в этой стране состоят в масонских ложах. Мне повезло, я младший сын в семье, и меня туда никто не тащит. И слава Богу! Я совершенно не чувствую себя обделенным! К делу, Мишель! У меня сегодня самостоятельный полет. Поддержишь присутствием?

Июнь 1910 года. Аэродром под Парижем

Аэродром – это громко сказано. Поле, несколько больших сараев, бочки с горючим в загородке.

Возле сарая на траве стоит странная конструкция, более похожая на изломанную этажерку, чем на самолет. Но это самолет, пусть и непривычной компоновки, но самолет.

На жестком сиденье в середине летательного аппарата сидит Дорик. Перед ним автомобильный руль, сзади – мотор и винт.

Чуть поодаль стоят Маргарит и Михаил.

Мотор с треском начинает работать. Дорик машет рукой, и аэроплан начинает катиться по полю. Винт сзади превращается в сверкающую плоскость. Самолетик двигается все быстрее и быстрее, на лице Дорика страх и восторг одновременно. Аэроплан подпрыгивает и взмывает в воздух, правда, невысоко. Он летит, качая крыльями, как подбитая утка.

Мишель и Маргарит кричат и бегут вслед.

Коснувшись травы огромными колесами, он снова взлетает и на этот раз держится в воздухе больше 20 секунд. Еще прыжок, еще...

И вот крылатая машина уже катится, треща двигателем.

Дорик выскакивает на землю, бежит к Мишелю и Маргарит. Он возбужден, счастлив и испуган.

– Я летел! – кричит он. – Мишка, брат! Я летел, как птица! Вуазен – гений! Теперь я знаю, чем буду заниматься всю жизнь! Мы с Сикорским построим самый лучший самолет на свете! Самый лучший, самый быстрый! И я назову его нашим именем – Терещенко!

Он обнимает Мишеля и целует Маргарит в щеку.

– Все! Едемте пить! Сегодня – самый счастливый день в моей жизни!

Июнь 1910 года. Парижский дом Терещенко. Поздний вечер

Возле дома останавливается «роллс-ройс» Михаила. Они с Маргарит входят в парадное. Ожидающий их домоправитель с поклоном подает Терещенко телеграмму. Тот читает. Хмурится.

– Что-то случилось? – спрашивает Маргарит.

– Это от матери. Дела семьи требуют моего нахождения в Петербурге.

– Полагаю, – говорит Маргарит, – что спрашивать, поеду ли я с тобой – излишне?

– Пока – да.

Они поднимаются по лестнице.

– Что значит «пока», Мишель? Я никогда не стану русской княжной, а значит, никогда не буду угодна твоей матери.

– Я подготовлю твой переезд в Петербург, Марго.

– Но не сейчас?

Михаил качает головой.

– Не сейчас, дорогая. Обещаю, я буду приезжать к тебе так часто, как смогу.

– И сколько это будет длиться? Год? Два?

– Я не знаю, девочка моя, я не знаю...

31 марта 1956 года. Монте-Карло. Прибрежное кафе

– Вы знаете, – говорит Сергей, – я, как журналист, вам немного завидую. Люди, с которыми вы общались, для меня – легенды! Шаляпин, Дягилев, Мережковский, Гиппиус... Какие фамилии! Я бы многое отдал за то, чтобы побеседовать с ними...

Терещенко улыбается.

– Вы, наверное, года 23-го? Так?

– Почти угадали. 22-го.

– Вы просто не можете знать, что представляло собой общество во времена моей молодости. Я имею в виду ту самую прослойку образованных людей, которых ваш гений из Симбирска так сильно не любил. Все друг друга знали, пусть не напрямую, но через кого-то из близких. Страна была огромна, но прослойка узка. Известно ли вам, месть Никифоров, что отец господина Керенского был директором гимназии, в которой учился будущий вождь вашего пролетариата? После смерти отца Ульянова он взял опеку над его семьей и даже ходатайствовал о том, чтобы Ульянову дали медаль?

– Я читал парижское интервью Керенского.

– Ну, я-то знал эту историю намного раньше! Именно поэтому Керенский легкомысленно относился к предупреждениям – а ему все твердили, что Ленин опасен! – и не предпринял решительных действий против большевиков. И Протопопов был из Симбирска... Вы же знаете, кто такой Протопопов?

– Конечно, – кивает Сергей. – Министр внутренних дел. Реакционер и палач.

– Вы говорите так же, как я в феврале 17-го. Нынче я бы не стал так однозначно трактовать его роль в тех событиях. Хотя... Крови он пролил немало. Но я сейчас не об этом... Три человека! Три человека из маленького городка, провинциалы, приехавшие в столицу из глухомани, в 17-м решали судьбу империи. Если это не ухмылка истории, то я ничего не понимаю

в жизни. Где бы вы ни были – в Москве, Киеве, в Крыму, в Петербурге – вы везде общались с людьми своего круга, а значит, практически с одними и теми же персонами. Или с их родственниками. Или с их знакомыми. У нас в доме – и в Петербурге, и в Канне, и в Киеве, – бывали и великие князья, и певцы, и писатели, и актеры, и поэты, и промышленники. И революционеры, кстати, бывали... Фронта была в моде. Верите, многие промышленники поддерживали революционеров. Мы давали деньги тем, кто нас потом уничтожил, выгнал из страны...

– Но, Михаил Иванович, многие остались... Приняли революцию и умом, и сердцем – и остались.

Терещенко смотрит на Никифорова с иронией.

– Давайте сэкономим друг другу время, – предлагает он. – Вы же не хотите, чтобы я врал и рассказывал вам небылицы? Тогда постарайтесь не лгать мне. Вы далеко не глупы, меcье Никифоров, и далеко не так простодушны, как стараетесь показать. Я старше вас на 40 лет и могу не сомневаться ни в своем опыте, ни в своей интуиции. Я не люблю советскую власть и не пытайтесь рассказывать мне о том, что она самая гуманная на свете. Но я знаю, что с любой, даже самой бесчеловечной властью можно сотрудничать, если она готова на это пойти. Я устал ждать выстрела в спину. Или ножа под лопатку. Или удара ледорубом. И то, что вы приехали брать у меня интервью, открыто попросив о встрече через посольство, я воспринял как хороший знак. Это значит, что молоко скисло окончательно...

– Меня просто попросили взять интервью, – примирительно поднимает ладони Сергей. – Вы же кладезь информации, Михаил Иванович. Не думаю, что ваше интервью будет менее значимым, чем интервью Керенского. Кстати, вы не общаетесь?

– У нас сложные взаимоотношения... Нам не о чем с ним говорить.

– И все-таки у меня есть несколько вопросов...

– Я отвечу на ваши вопросы, – перебивает Терещенко. – А вы уж потом сами решите, что писать, а что нет. Пленки тем и хороши, что их расшифровки легко редактировать, не так ли, меcье Никифоров?

– Так, – кивает Сергей, и Терещенко удовлетворенно жмурится, глядя на ослепительно голубое небо и море, простирающееся перед ними.

– Вот и хорошо, – говорит он. – Вернемся к тому, с чего начали... Я действительно общался с актерами, литераторами, поэтами. Это теперь они в учебниках и энциклопедиях, а тогда... Тогда все мы были молоды, амбициозны и мечтали завоевать мир! Единственная разница между мной и ими заключалась в том, что я мог поддержать свои амбиции деньгами, а они – нет. Но я с удовольствием приходил к ним на помощь. В то время я стал чиновником для особых поручений при Дирекции Имперских театров. Правда, содержание мне за это не платили... Но работа на благо Мельпомене была для меня лучшей наградой...

Июнь 1911 год. Петербург

Дворцовая набережная, по ней катит автомобиль. Это не роскошный «роллс-ройс» с Лазурного берега, а более уместный в Петербурге «даймлер» последней модели. За рулем – Михаил Терещенко.

Он повзрослел, заматерел фигурой, и теперь с виду уже не юноша, а молодой 25-летний мужчина: уверенный в себе, прекрасно одетый, холеный.

И Петербург 1911 года – прекрасный и холеный. Богатый, красивый столичный город. Новые здания, хорошие дороги, улицы по европейскому типу, на них машины, коляски извозчиков, трамваи и великое множество людей. Столица кипит жизнью.

Город хорошо виден из авто Терещенко – Сенатская площадь, Исаакиевский сквер, мост через Мойку...

«Даймлер» притормаживает возле здания Мариинского театра и въезжает во внутренний двор.

Рядом с театром множество колясок, машин, и подъезжают все новые и новые – вечер, в театре будут давать балет. На афишах фамилии крупными буквами – «Вацлав Нижинский», «Русский балет Дягилева», «Шаляпин в опере «Хованщина» и конечно же «Анна Павлова».

Терещенко входит в здание театра, поднимается по лестнице...

Вот он идет по коридору, где расположены театральные уборные. На каждой двери – табличка с фамилией.

Он останавливается возле двери с надписью «Артистка Павлова» и стучит. В руках у Михаила букет роз.

Дверь распахивается.

На пороге – Павлова. Она еще не в балетном костюме, но волосы уже взяты повязкой, на лице грим.

– Господин чиновник по особым поручениям? – говорит она букету, которым Мишель прикрыл лицо.

– Новая звезда русского балета? – спрашивает Терещенко, выглядывая из-за цветов.

– Единственная! Единственная звезда! – поправляет его Павлова. – Прошу вас, господин инспектор, заходите, не стойте на пороге!

Михаил входит в гримерную.

Как только дверь закрывается, он обнимает Павлову и целует ее. Анна выскальзывает из его объятий, подхватывая букет.

– Миша, у меня спектакль... Ты испортишь мне всю красоту...

– Испорчу твою красоту? Сомневаюсь, что у кого-то это получится!

– А почему букет до, а не после? – спрашивает она, устанавливая розы в вазу.

– Второй букет ждет в авто, – улыбается Михаил. – Просто после спектакля тут впору открывать цветочный магазин, а сейчас мои розы у тебя единственные.

– Ты ревнуешь?

– Как можно ревновать тебя к зрителям? Мне лестно, что они поклоняются тебе. Ты для них – богиня...

– А для тебя? – говорит она кокетливо.

– Для меня ты тоже богиня, Анна. Муза танца, Терпсихора. Когда ты танцуешь Лебедя, то сердце мое каждый раз замирает, как перед смертью. Но когда мы остаемся наедине... Я вспоминаю о том, что прежде всего ты – женщина!

Ей нравится то, что он говорит, и нравится то, КАК он это говорит.

– Ты делаешь мне комплименты потому, что я снова уезжаю и оставляю тебя одного?

– Иногда я жалею, что дал Дягилеву совет заняться балетом. Ваши постоянные гастроли! Вот пожалуйсь Теляковскому, что без Анны Павловой Мариинка уже и не Мариинка!

– Слышал бы тебя Сергей!

– Он сделал себе состояние на ваших гастролях! – обиженно говорит Терещенко. – Неужели нужно постоянно куда-то ездить!

– Он сделал меня звездой, – возражает Анна, садясь у зеркала. – А русский балет – самым популярным в Европе. Если ради этого надо ездить на гастроли пять раз в год – я буду ездить. Кстати, как продвигается твоя статья о балете?

– Превосходно! Выйдет в этом месяце.

– И ты упоминаешь обо мне?

– Исключительно в хвалебных тонах.

– Только меня?

– Если честно... – мнется Михаил. – Не только тебя.

– А что? – она поворачивается к Терещенко и поднимает нарисованную бровь. – В театре есть еще балерины?

– Я все-таки театральный критик – другие балерины, конечно, есть. Но скучаю я только по тебе.

Павлова встает из-за трельяжа и наклоняется над Терещенко, нависает над ним так, что их лица почти соприкасаются:

– Если ты страстно влюблен и скучаешь... Сделай так, как прошлой осенью. Брось все и поезжай с нами на гастроли. Основания у тебя есть – ты антрепренер, чиновник по особым поручениям при директоре Императорских театров, Владимир Аркадьевич в тебе души не чает и свое разрешение на поездку даст. Я буду рада. Дягилев с ума сойдет от счастья, что кто-то разделит его ношу. И твоя француженка будет не против лишний раз тебя увидеть...

– Ты так легко об этом говоришь...

– Я не ревнива. У тебя есть обязательства, у меня есть обязательства. Нас познакомил театр, он же нас когда-то и разлучит. Но мне приятно, когда ты рядом... Так что? Поедешь?

Михаил внимательно смотрит на нее снизу вверх.

– Нет, Аня. Я не смогу. Не в этот раз.

Павлова резко отстраняется от него и пожимает плечами.

– Ну, хоть не врешь... Уже хорошо. Оставайся. Делай свои дела. Мы вернемся к началу сезона и тогда посмотрим, что будет дальше...

Она заходит за ширму и продолжает:

– И будет ли вообще это самое «мы»...

Шуршит надеваемая пачка.

– Не обижайся... – примирительно говорит Михаил.

– Я не в обиде, – отвечает Павлова, выглянув над ширмой. – Не терзай себя, у нас ничего не кончено, просто – небольшой антракт. И перестань дуться! Иди в зал, мне надо затянуть костюм. И не смотри на меня так! Никто не должен видеть Лебеда без оперения!

Зал Мариинского театра. Аншлаг. Балет «Египетские ночи»

В ложе Терещенко и Александр Блок. Оба с восхищением смотрят на сцену, на танцующую Павлову. Финал. Зал взрывается аплодисментами. Крики «Браво!». На сцену летят цветы. В партере зрители встают, галерка бешено аплодирует.

Блок улыбается и говорит что-то на ухо Терещенко.

На сцене раскланиваются артисты. Впереди прима труппы Анна Павлова.

Блок и Терещенко возле гримерных.

Терещенко снова стучит в дверь с табличкой «Артистка Павлова». Они входят. Анна уже переодета и без театрального грима. Видно, что она устала, но глаза блестят. Комната действительно напоминает оранжерею – цветы везде. Мужчины вручают ей еще два букета. У Терещенко это снова букет превосходных роз. У Блока – букет камелий.

Терещенко целует Павловой руку, но она игнорирует его многозначительный взгляд.

– Благодарю вас, Анна Павловна, – говорит Блок с чувством. – Я давно не получал такого удовольствия. Для меня ваш танец каждый раз как открытие...

– Вы тот самый Блок? – спрашивает Павлова. – Мишель скрывал от меня свое знакомство с вами! А я, Саша, люблю ваши стихи!

Петербург. Белая ночь. Набережная Невы

У воды стоят Блок и Терещенко. Оба слегка пьяны и курят.

– Так ты уезжаешь? – спрашивает Михаил.

– Приходится...

– И куда на этот раз?

– Еду во Францию, – Блок вздыхает. – Никуда не хочу ехать, друг мой...

– Оставь. Париж прекрасен! Поедешь в Канн, подышишь морем...

– Я нынче в Бретань, врачи прописали морские купания. Впрочем... Везде одно и то же. Жизнь человеческая – грязь и мерзкая лужа. Что у нас, что в Италии, что в Париже... И место, куда я еду, для русского уха звучит отвратительно... Аберврак! Ну что хорошего можно ожидать от деревушки с таким названием?!

Терещенко смеется.

– Декаданс... Тебя, Сашенька, как не поверни – везде драма. Любовь – драма, дружба – драма, поездка – драма... Хорошо тебе – драма! Плохо – тоже драма! Ты ж после Италии такие стихи написал! Чудесные! А сейчас? Сплин одолел?

– Одолел, – соглашается Блок и садится на ступени у самой воды. – У поэтов, ты знаешь, это случается.

– А может, ты просто пьян?

– Пьян... Но недостаточно. Ты думаешь, отчего я пью? А все просто! Я добрый, когда пьяный. Когда я пьяный – мне хорошо. Но не могу же я все время пить?

– А вдруг Париж тебе понравится?

– Не понравится... Я не успеваю уехать и сразу хочу домой. Пусть здесь все плохо, но там – еще хуже. Здесь все свое, пусть беспросветное...

– Есть хоть что-то, что тебе нравится, Саша?

– Театр, – говорит Блок серьезно. – Рассветы. Первый снег. Море. Как пахнет свежий хлеб. Белые ночи. Достаточно?

– Вполне. А люди?

– С людьми – сложнее. Вот Пелагея твоя нравится...

– Вы это оставьте, господин Блок, – с деланной суровостью приказывает Терещенко. – Вы человек семейный, давно женатый...

– Спасибо, – криво ухмыляется Блок, прикуривая следующую папиросу. – Подсказал. Я, Миша, хорошо помню, что женат. И днем помню, и ночью. Тянется этот брак и тянется... И никак не закончится, хотя давно должен был. Он умирает, а мы с Любой его оживляем. Он снова падает, а мы его, как лягушку в анатомическом театре – током! И получают у нас не чувства, не священный союз, а гальванизированный труп, который толком и не похоронить... А Пелагея... Она дивный человек! Умная, добрая, тонко чувствующая... Но она твоя сестра, и оскорблять тебя ухаживаниями за ней я не буду. Пошлость какая! Завести роман с незамужней сестрой друга! В этом злосчастном Абервраке ждет меня Любовь Дмитриевна, к ней и поеду... Все лучше купаться в холодном море, чем пить лекарства, что мне прописывает этот Пекелис. Он мне вино пить не велит, думает, от его порошков мне легче.

– От вина всем легче, Саша, – говорит Терещенко. – Только это не та легкость. Я, знаешь ли, у себя некоторые клапаны перекрыл. Напрочь. Потому что если их открыть, останется одно – пить. И единственный способ держать их закрытыми – это не иметь ни одной свободной минуты. Чтобы ты постоянно ворочался в чужих и своих заботах, как свинья в грязи. Это, Саша, получше всяких порошков и водки.

– Тебе-то это зачем? Ты же у нас богат, как Крез! Соберись и уезжай прочь, к своей Маргарит. Ты же этого хочешь? Тебе на хлеб насущный зарабатывать надобности нет. Для тебя весь мир – дом! Право, я иногда жалею, что не родился тобой!

– А я иногда жалею, что не родился тобой, Саша, – Михаил убийственно серьезен.

Блок смеется. Лицо его неподвижно, словно маска, лишено мимики – поэтому смотреть на то, как он смеется, неприятно.

– Родиться мной? Ты ненормальный, Мишель. Ты знаешь, что такое бояться темноты?

– Ну, в детстве я тоже боялся...

– Брось, Миша! Я не о детских страхах. Для того чтобы чувствовать такое, надо повзрослеть.

Он смотрит на Терещенко, и глаза у него кричат от боли, а лицо все так же остается мертвым.

– Потому что когда приходит вечер, ты уже готов кричать от ужаса. Тебя пугает не то, что в темноте, а сама темнота. Потому что в ней НИЧЕГО нет. Вообще – ничего. Знаешь, как я ненавижу осень? Все эти красно-желтые листья, голые деревья... Природадохнет, разлагается! И все меньше и меньше света...

Михаил молча качает головой.

– Осень... – говорит Блок негромко. – Больше, чем осень, я ненавижу зиму. Короткие дни и бесконечные ночи. Серость, слякоть, грязь и темнота. Я умираю каждый вечер и не могу возродиться утром, потому что за окнами нет солнца. Знаешь ли ты, что такое быть мертвым полгода, Миша?

Блок молчит и курит, потом спрашивает:

– У тебя есть еще шампанское?

Михаил кивает и поднимается к стоящей на тротуаре машине. Шарит в салоне и возвращается с бутылкой. Пробка с хлопком улетает в светлое майское небо.

Блок отпивает из горлышка, кашляет, потом вскакивает.

*Белой ночью месяц красный
Выплывает в синеве.
Бродит призрачно-прекрасный,
Отражается в Неве.*

*Мне провидится и снится
Исполненье тайных дум.
В вас ли доброе таится,
Красный месяц... тихий шум?..*

Декламирует он, задрав голову.

По набережной мимо них проходит шумная компания молодых людей. С ними девушки, если судить по виду, курсистки. Они тоже в подпитии, у одного из юношей в руках гитара. Смех, обрывки песен...

Компания уходит, и Блок с Терещенко остаются одни на лестнице, ведущей к Неве.

– Ты все еще хотел бы родиться мной, Миша? – спрашивает Блок. – Уверен?

– Ты – талант, Саша, – отвечает Терещенко. – А мне только и забот, что соответствовать.

– Соответствовать, Мишель, – говорит поэт, – это тоже талант. Ты в жизни можешь все: быть адвокатом, актером, критиком, политиком, да кем угодно, хоть самым чертом или ангелом! А я могу только сочинительствовать. Да и то делать это с каждым годом все сложнее. Мне выть хочется, а должно стихи писать... Ты по жизни шагаешь победителем, а я ползу, как муха, угодившая в смолу...

– Беда с вами, нигилистами, – пытается пошутить Терещенко. – К девкам, что ли, тебя свозить? Чтобы вылечили?

– Поехали к девкам, – соглашается Блок и швыряет опустевшую бутылку в реку.

Его пошатывает.

Июнь 1911 года. Петербургский дом семьи Терещенко

Раннее утро.

За столом читает газету дядя Михаила, Александр Николович. Когда входит Михаил, дядя откладывает чтение в сторону.

– Доброго утра, Миша!

– Доброе утро, дядя Саша!

Александр Николович присматривается к племяннику.

– Думаю, что вопрос «Как ты спал?» – лишний...

Терещенко улыбается и садится за стол. Александр Николович звонит в колокольчик.

– Мария, – обращается дядя к служанке, появившейся в дверях. – Пожалуйста, кофе для Михаила Ивановича. И завтрак соберите... Ты же будешь завтракать?

Михаил кивает.

Александр Николович закуривает сигару. Служанка ставит перед Терещенко-младшим кофейник и наливает кофе в чашку.

– Вас мама попросила приехать? – спрашивает Михаил.

– Нет. В Петербурге у меня дела. Мне предложили должность государственного советника. Как сам понимаешь, я отказаться не могу. Меня не поймут, да и сам не хочу уклоняться. Положение обязывает. Это значит, что на Украине я смогу бывать меньше. Скажи-ка мне, что за история произошла у тебя в университете?

– Это уж точно мама рассказала?

– Снова ошибаешься. Сию новость сообщил старинный мой приятель, с которым я ужинал во вторник.

– Министр просвещения уволил ректора, проректора и помощника проректора за политические убеждения.

– Лев Аристидович никого зря не уволит, – резонно замечает дядя. – Ну, положим, уволит. И что из этого?

– Мы тоже написали заявления в знак протеста!

– Кто это – мы?

– Я и двое моих товарищей...

– Коллег... Таких же аспирантов, как и ты. Без году неделя ученых... – уточняет Александр Николович. – А против чего вы, Миша, протестовали?

– Нельзя уволить человека за его политические взгляды!

Некоторое время дядя молчит.

– А если я скажу, что можно? – говорит он через некоторое время. – Более того, я сам недавно уволил несколько таких вот якобинцев с принадлежащих нам заводов.

– Это неправильно, дядя Саша.

– Это правильно, дорогой мой племянник. Потому что на наших предприятиях работают тысячи человек. Мы платим им зарплату, строим для них школы, церкви, больницы, прокладываем дороги и электролинии...

– Мы это делаем для себя!

Дядя вздыхает.

– Мне не нужна еще одна школа. Мне не нужна еще одна церковь. Когда я заболею, ко мне приедет мой личный доктор Фельдман, и я не лягу в больницу в Глухове или Киеве. На те деньги, что мы тратим на благотворительность, можно было бы построить не один и не два завода. Музеи и театры тоже денег не приносят, так, Миша? Но мы богаты и должны делать добро. В 1905 году те, для кого мы строили школы, церкви и больницы, жгли наш завод, громили винные лавки и магазины. Начиналось все с иных политических взглядов, господин наследник. С разговоров. С призывов и мечтаний о светлом будущем. А закончилось – кровью и убытками...

Михаил намазывает маслом свежий еще горячий гренок, кладет на него джем из хрустальной вазочки. Приборы серебряные, белоснежные скатерти, салфетки, схваченные кольцами из черненого серебра. Сама гостиная, обставленная дорогой мебелью, с тончайшими гардинами и тяжелыми шторами на окнах, наборным паркетом из ценных пород дерева, буквально дышит роскошью и вкусом.

– Для меня социальная справедливость – не пустые слова! – говорит Терещенко-младший.

Дядя качает головой.

– Обучение молодежи в Европах имеет свои плюсы и минусы. Мы, конечно, страна отсталая и потому не так заражены революционной бациллой, как просвещенные государства. Твоего прадеда, дорогой мой племянник, в городе Глухове знали под кличкой Карбованец, и торговал он пирожками на рыночной улице. Не он один торговал, да только он один не пропивал выручку. И они с твоей прабабкой по копейке начали строить то, что сегодня стоит 70 миллионов золотых рублей. Ходили, правда, не в марксистский кружок, а все больше в церковь. Не призывали к стачкам, а работали с утра и до ночи.

– Сейчас, дядя Саша, в России нет семьи – ни бедной, ни богатой – где не говорили бы о том, что нужны перемены! Нищета, безграмотность, голод. Рабочие на заводах в тяжелейшем положении. Не везде так, как у нас, если ты не знаешь. Люди не могут так жить, они хотят лучшего, и винить их в этом – преступная несправедливость!

– Да кто ж спорит, что многое надо менять! Но перемены, Мишель, дело нескорое. Есть, мон шер ами, разница между эволюцией и революцией. Я хоть в теорию господина Дарвина не верю, но читал, что, согласно ей, природе для изменений нужны миллионы лет. Человек же нетерпелив и не хочет ждать, ему нужно все проверить немедленно! Сейчас! Он ждать не станет, даже если вредит себе. И ведь вредит! От спешки никогда ничего хорошего не происходило, огорчения одни. Не будет царства справедливости ни завтра, ни послезавтра, Мишель. Его никогда не будет. Потому что один человек рождается ничем и ничем умирает, а другой способен изменить и себя, и жизнь вокруг себя. Чуть-чуть, но изменить... Трудом своим, добротой, поделчивостью, талантом... А бомбами да револьверами мир не переделаешь. Кровь только прольешь. А у крови есть особенность, дорогой племянник, когда ее начинают лить, то остановить это трудно... больно у нее запах пьянящий!

В гостиную входят Елизавета Михайловна и Пелагея. Все здороваются, целуются между собой. Елизавета Михайловна принимается к сыну. Рот ее брезгливо сжимается. Все садятся за стол.

– Пил со своими актерами? – спрашивает она напряженным голосом.

– На этот раз с поэтами...

– Богема, – выплевывает как ругательство Елизавета Михайловна. – Антихристы, мужелюбцы, пьяницы, женские угодники... Жалкая публика. С тех пор как ты оставил работу на кафедре, Михаил, твой образ жизни внушает мне беспокойство.

– Мы как раз об этом говорили, – сообщает Александр Николович. – Дело в том, Лиза, что мне нужна Мишина помощь. Обстоятельства складываются так, что я не могу уделять должного внимания семейному делу. Так что его увольнение с кафедры – нам на руку. Миша должен поехать на Украину с инспекционной поездкой и некоторое время пожить в Киеве, присмотреть за заводами.

– И когда? – спрашивает Пелагея с огорчением.

– Завтра, – говорит Терещенко-младший, вытирая рот салфеткой.

Александр Николович в удивлении и едва заметно приподнимает бровь.

– Мы с дядей решили, что я поеду завтра...

26 февраля 1917 года. Петроград. Знаменская площадь

Снежно. Холодно. Ветрено.

На тумбе для афиш висит свеженапечатанное объявление: «Всяческие скопления людей запрещаются. Предупреждаю население, что возобновил войскам разрешение употребить для поддержания порядка оружие, ни перед чем не останавливаясь. Военный комендант Петрограда генерал Хабалов».

На улицах видны следы беспорядков. Разбитые витрины булочных, продовольственных магазинов, наскоро закрытые фанерой.

Проскакивают на рысях казачьи разъезды.

Проходит толпа людей с красными флагами и самодельными транспарантами, скандируя: «Хлеба! Хлеба! Хлеба и мира!»

У моста через Фонтанку выставлены посты – армейские и жандармские. Солдаты вооружены. Кое-где пулеметные расчеты.

Тревожно.

Невский проспект необычно безлюден.

Перекрывая движение со стороны Фонтанки, на Невском стоят военные.

Солдаты с винтовками, несколько офицеров, пулеметный расчет.

Издалека, со стороны Знаменской площади и на Лиговском проспекте слышен гул голов.

К строю подъезжают несколько казаков, один из них склоняется с седла к офицеру, стоящему на фланге заграждения.

– Урядник Казанцев, – представляется он.

– Штабс-капитан Лашкевич, – отвечает офицер.

– Господин штабс-капитан, докладываю, – рапортует урядник. – Толпа, больше 1000 человек. Все возбуждены, есть пьяные и агитаторы. Минут через пятнадцать будут у вас.

– Больше тысячи – это сколько? – спрашивает Лашкевич.

– Не могу знать, господин штабс-капитан. Людей много. Толпа движется все время. Стреляли, вот...

Казак демонстрирует распоротую до подкладки ткань на плече.

– Вчера вы их остановили.

– Так то вчера было! – ухмыляется казак. – Сегодня, господин штабс-капитан, все иначе. Злые они, горячие. Без смертоубийства не обойтись.

Гул голосов становится громче. Вдали уже видны первые ряды катящегося по Невскому человеческого вала. Пятнами над толпой красные флаги, транспаранты: «Долой войну!», «Долой немку!», «Хлеба и мира!».

– Ага... – говорит урядник. – Вот сейчас сами все и увидите. Тут мне шашкой махать без смысла. Тут, господин штабс-капитан, пулеметы нужны.

– Вы, Казанцев, поезжайте, – цедит сквозь зубы Лашкевич. – Спасибо. Дальше мы без вас.

– И вам спасибо, господин штабс-капитан, – отвечает урядник. – Дай вам Бог удачи!

Казачьи протискиваются через строй и уезжают оглядываясь.

– Господа офицеры! – негромко зовет Лашкевич.

К нему, придерживая шашки, подбегают трое.

Лашкевич отдает приказы.

Солдаты стоят в две шеренги и переговариваются. У многих на лицах нерешительность, некоторые глядят на приближающихся демонстрантов с ужасом.

Офицеры бегут прочь от командира.

«Первая шеренга – товсь!» – летит над Невским.

Уже слышны слова песни, которую распевают бунтовщики. Это «Марсельеза».

Первая шеренга опускается на колено, держа винтовки наизготовку.

Толпа надвигается на солдат.

Пулеметчик заправляет в лентоприемник ленту.

– Первый – над головами! – командует один из офицеров. – Цельсь!

Лашкевич выходит перед строем, навстречу толпе и поднимает руку.

– Стой! – кричит он, но пение и возгласы заглушают его голос.

Между толпой и взявшими наизготовку винтовки солдатами остается не более сотни шагов. Песня уже не звучит, гремит в тысячу глоток. Толпа продолжает идти.

Лашкевич машет рукой.

Первая шеренга стреляет.

Шквал свинца проносится над головами бунтующих.

(В нескольких кварталах от них казачий урядник осаживает коня и, оглянувшись через плечо, укоризненно качает головой. Из переулка навстречу ему выезжает несколько десятков всадников в казачьей форме. Казанцев со своими вливается в отряд, и казаки скачут обратно, на звуки выстрелов.)

И толпа встает. Задние ряды еще продолжают напирать, передние упираются изо всех сил, но непреодолимая сила инерции несет их на еще дымящиеся стволы.

– Вторая шеренга, товсь!

– Ааааа! – выдыхает толпа и окончательно останавливается.

– Приказываю разойтись! – кричит Лашкевич, надрывая горло. – Немедленно! Дальше никто не пройдет!

– Это ты! Ты отойди, падлю! – кричат из толпы.

– Не стреляйте, братушки! – несется из гущи людей визгливый женский голос. – Не стреляйте, мы же свои!

– Разойтись! – опять орет штабс-капитан. – Немедленно! Будем стрелять!

– Они не будут в нас стрелять! – кричит кто-то. – Не будут! Не стреляйте, братушки! Вперед!

Щелкает револьверный выстрел. За ним еще. Стреляют из толпы, из самой гущи. Стрелку неудобно, его толкают со всех сторон, он промахивается и сыпется стекло из выбитого пулей окна.

Огромная людская масса колыхнется, как подошедшее тесто, и начинает наползать на шеренги солдат.

– Цельсь! Пли!

Грохот залпа. Крики, сливающиеся в один страшный многоголосый вопль. Люди пытаются отступить, но напирающие задние ряды толкают их на стволы солдат. Убитые и раненые падают под ноги бегущим, и их топчут десятки ног, вдавливая в грязно-кровавую жижу.

– Товсь! Цельсь! Пли!

Ударил навстречу бунтовщикам пулемет. Первая очередь проходит выше, пулеметчик так целил. Зато вторая хлещет по людям, и снова над Невским, перекрывая грохот выстрелов, раздается страшный предсмертный вой.

Один из солдат, бледный, как мел, дрожащими руками отбрасывает от себя винтовку и закрывает лицо, чтобы не видеть расстрела. Еще несколько опускают стволы к земле, отказываясь стрелять.

Но они в меньшинстве.

Вид приближающейся людской массы – безумной от страха и готовой все смести на своем пути – пугает служивых куда больше, чем грядущие муки совести. Это просто инстинкт самосохранения. Звучит команда, и снова ударяет в толпу горячий свинцовый шквал, и она наконец-то бросается бежать в обратном направлении.

– Прекратить огонь! – кричит Лашкевич.

– Прекратить огонь! Прекратить огонь! Прекратить огонь.

На снегу корчатся десятки раненых. Лежат убитые, их не меньше двух дюжин. Всюду кровь. Брошенные транспаранты, знамена...

На Лашкевича бежит юноша в студенческой шинели. В руках у него револьвер и он стреляет раз за разом, но рука дрожит и пули уходят мимо.

«Палач! Палач! Палач!» – кричит юноша.

Лашкевич поднимает револьвер и стреляет в студента. Пуля попадает тому в правое плечо, он роняет револьвер и опускается на землю.

– Палач! – снова выкрикивает он, корчась от боли. Теперь голос у него дрожит и прерывается.

– Лежи, дурак, – говорит Лашкевич, проходя мимо. – Сейчас перевяжут!

На Невский выезжает конная полусотня, на фланге – урядник Казанцев.

Он улыбается Лашкевичу, машет рукой.

Казачи скачут за убегающей толпой, но людей конями не топчут, шашками не рубят – просто гонят перед собой, словно стадо.

Штабс-капитан поворачивается к своим солдатам.

– Кто бросил винтовки – подобрать. Считайте, что я ничего не видел. Не расходиться. Держать строй. Санитары! Оказать помощь раненым! Поручик Красавин!

Подбегает молодой офицер, высокий, тонкий, как подросток.

– Слушаю, господин штабс-капитан!

– Соберите добровольцев, уберите трупы с мостовой.

– Куда убрать? – спрашивает поручик с недоумением.

Видно, что он испуган произошедшим только что у него на глазах смертоубийством – глаза бегают, бледный.

– Положите убитых в подворотне, пока не прибудет жандармерия, – приказывает Лашкевич тихо, но твердым голосом. – Не надо, чтобы гражданские так лежали, а солдаты на них смотрели. Исполняйте, поручик. Проявите смекалку.

– Есть!

Поручик бежит в сторону, к своему подразделению, отдавая приказы на ходу.

Мимо Лашкевича санитары проносят раненую женщину, она без сознания. С бессильно откинутой руки на грязный снег капает кровь. Вслед несут мужчину в армейской шинели, он ранен в грудь и хрипло, со свистом, дышит. В руках санитаров бьется тот самый, стрелявший в Лашкевича, студент.

– Палачи! Посмотрите, что вы наделали!

Солдаты молчат и держат строй.

Тот, кто бросил винтовку, стоит в шеренге вместе со всеми и плачет. Дрожит подбородок, и слезы текут по веснушчатым щекам.

Лашкевич смотрит на него несколько секунд.

На скулах офицера играют желваки. Он отворачивается и отходит в сторону. Ломая несколько спичек, закуривает. Рука с папиросой ходит ходуном, но штабс-капитан изо всех сил сдерживает дрожь.

Неподалеку слышны выстрелы. Сначала разрозненные, а потом звучит залп. И еще один. И еще.

– Началось, – говорит Лашкевич сам себе в усы. – Доигрались.

Глава третья

«Иоланда»

31 марта 1956 года. Монте-Карло. Прибрежное кафе

– Но вы сами не видели расстрела на Невском? – спрашивает Никифоров.

– В те дни был не один расстрел, – говорит Терещенко, доставая из портсигара еще одну сигарету. – И не два. Были стычки по всему городу. Баррикады разбивали из пушек. Конные отряды разгоняли демонстрантов. Некоторых рубили. Люди быстро становятся зверьем, только дай им волю убивать. Жгли магазины, грабили лавки. Город был полон дезертиров, которых наплодили большевистские агитаторы...

Он замолкает.

– Простите, месье Никифоров. Глупо спустя столько лет говорить неправду – наплодили ваши агитаторы и наши бездарные полководцы – это куда ближе к истине. Вы воевали в последней войне?

– Да. С первого и до последнего дня.

– Пехота?

– Сначала мотострелковый полк. Потом, с 43-го – армейская контрразведка.

– Что так?

– Спецшкола. Два языка в совершенстве. Решили, что как переводчик я нужнее. Но до этого пришлось и отступать, и наступать, и сидеть в окопах...

– Тогда вы легко поймете, о чем я говорю. Зима семнадцатого... Третий год войны, пустая казна, плохое снабжение. Люди устали. Люди всегда устают, если нет побед. Грязь, холод, голод, вши... И еще годы войны впереди – никто не знает, сколько. Начиналось все красиво – Николай Александрович на балконе Зимнего, молебн, торжественная клятва государя вести войну до победного конца, толпа, опускающаяся на колени с «Боже, царя храни...». Этаким патристический лубок! А потом была реальная жизнь. Я только видел, как отступают, и мне хватило... – говорит Терещенко, закуривая. – Я не воевал. Вы были нужны контрразведке, я – в Военно-промышленном Комитете. Мои деньги были нужны родине. А солдаты на Западном фронте были никому не нужны. Я много раз приезжал туда от Красного Креста во время кампаний 15-го и 16-го годов. Что я могу вам, воевавшему человеку, рассказывать о позиционной войне – по несколько месяцев в окопах впроголодь, то жара, то холод, крысы, дизентерия и тиф. Понятно, что большевистских агитаторов слушали, как моряки – сирен. Солдаты дезертировали сотнями, тысячами и бежали... Кто домой в деревню, а кто и в столицу за лучшей жизнью. Искали пропитания, грабили... Они научились на фронте ни во что не ставить человеческую жизнь, озлобились, изверились и принесли эту жестокость домой. Что еще они могли принести? Это была страшная сила, месье Никифоров. Сила, которой было почти невозможно управлять...

– Большевики смогли, – замечает Никифоров и в голосе его проскакивает торжествующая нотка.

– Какие большевики? Рядовые агитаторы, но не партийное руководство! Ульянова тогда не было видно и слышно, молодой человек, – говорит Терещенко с раздражением. – Он слал письма из-за рубежа. Да даже после октябрьского переворота Троцкого знали куда больше, чем его! До семнадцатого года Ленин не приезжал в Россию двенадцать лет. Он жил Европе, занимаясь исключительно внутрипартийной борьбой, написанием теоретических статей и укреплением своей власти в партии. Знаете, как его называли однопартийцы? Хозяин. У вас об этом

не пишут, не так ли? Он проповедовал диктатуру, террор, насилие и страх как уникальные рычаги управления. Я помню, когда мы встретились в первый раз...

– Вы лично встречались с Лениным?!! – неподдельно удивляется Никифоров. – Простите, что перебил... Но это... Вы знали Ленина?

– А чему, собственно, вы так удивляетесь, Сергей Александрович? Тогда русских в Европе тоже можно было встретить на каждом шагу. Политические эмигранты не были *persona non grata*. Более того, многие из них появлялись в обществе как желанные гости – в салонах, в хороших домах. Карбонарии были в моде. Мы пересекались с самыми разными людьми, не зная их подноготной и даже не интересуясь ею. Нас объединяла культура, язык, общие знакомые... Революционер, эмигрант, борец с режимом – это звучало романтично. Русская интеллигенция насквозь пропиталась революционным духом! Не поддерживать идею смены строя было не совсем прилично, это говорило о вашей отсталости, реакционности, слепоте! Мы все мечтали свергнуть самодержавие и принести счастье нашей любимой России – свободу, равенство и братство. Мы серьезно полагали, что достаточно будет свергнуть самодержавие...

– Вы тоже были революционером, Михаил Иванович?

– В молодые годы каждый мнит себя революционером, месье Никифоров. Молодости свойственно желать перемен, зрелости – стабильности, старости – спокойствия. Мне не стыдно вспомнить свои молодые годы. И если я о чем-то жалею, то об упущенном шансе сделать Россию другой – свободной, демократической страной.

– То, что не удалось вам – удалось нам! СССР сейчас свободная демократическая страна, Михаил Иванович, – говорит Сергей серьезно. – У нас были отдельные перегибы, но мы их изжили. Думаю, что вы сами сможете на все посмотреть, если согласитесь приехать...

При этих словах Терещенко чуть меняется лицом, рука дрожит. Пепел с сигареты падает мимо пепельницы, но Михаил Иванович тут же берет себя в руки.

Никифоров делает вид, что смотрит в сторону, но на самом деле реакция собеседника от него не ускользает и он продолжает тему:

– Вы могли бы посетить Киев, побывать в Художественном музее, где до сих пор хранится экспозиция, подаренная вашей семьей...

– Я не могу понять, – перебивает его Терещенко. – Вы говорите серьезно или издеваетесь надо мной?

Он в гневе, лицо краснеет.

– Как вы можете предлагать мне приехать? Кто мог дать вам такие полномочия? Вы хоть знаете о том, что с того момента, как я сбежал из России, за мной шла охота? Я постоянно жил под прицелом, даже в Африке, а теперь вы официально предлагаете мне посетить Киев?

– Перед поездкой со мной говорили об этом. Просили передать вам предложение. А охота на вас – мне об этом ничего не известно, Михаил Иванович! Помилуйте! Да чем вы могли так насолить и кому?

– Было кому, – мрачно говорит Михаил Иванович. – До этого мы еще дойдем. И тогда станет понятно, пригласите ли вы меня посмотреть Киев. Я любил этот город больше, чем Париж или Ниццу, особенно весной и летом – пышный, цветущий, красивый...

Он снова достает из портсигара сигарету и закуривает, щурясь на солнце.

– Киев в самом начале века был изысканно провинциален и именно этим хорош...

Август 1911 года. Киев. Вокзал

К перрону медленно подходит поезд.

Судя по встречающей публике, поезд необычный. На вокзале собрались все высшие чины. Тут и губернатор со свитой, полицейские и жандармские начальники, и военный оркестр. Аксельбанты, ордена, пышные усы, блеск медных оркестровых труб. Вдоль перрона постелена ковровая дорожка.

По краю строя встречающих видно оцепление – полицейская охрана, несколько агентов в гражданском. На привокзальной площади замерли автомобили кортежа, возле них конные экипажи, кареты. Тут тоже оцепление – конные и пешие городовые. В самом вокзале практически нет случайных людей. В зале ожидания – депутаты сословий, им не хватило места на перроне.

По мере замедления состава суeta среди встречающих затихает. Паровоз вздыхает, выпуская струи белого пара, и замирает.

В первом ряду встречающих в белом мундире при всех регалиях и с премьерской лентой через плечо стоит Петр Аркадьевич Столыпин. За ним – градоначальник Киева Дьяков, губернатор Алексей Федорович Гирс, полицмейстер Скалон, генерал Курлов, жандармские чины.

Поезд останавливается. Двери салон-вагона распахиваются. Встречающие подбираются, звучит оркестр.

Из вагона выходит государь-император Николай Второй.

Столыпин делает шаг вперед, разворачивается. Вскидывает руку к околышу фуражки в приветствии. Император жмет руку статс-секретарю. Они замирают, предоставляя возможность фотоаппаратам запечатлеть момент.

– Рад приветствовать вас в Киеве, Ваше Императорское Величество, – говорит Столыпин, склоняя голову.

– Благодарю вас, господин статс-секретарь, – отзывается Николай. На лице его легкая вежливая улыбка, но смотрит он на премьер-министра без симпатии, недружелюбно и холодно.

Из вагона спускается императрица Александра Федоровна в белоснежном платье и широкополой шляпе, наследник Алексей...

– Ваше Императорское Величество, – гудит басом киевский губернатор. – Позвольте мне...

Август 1911 года. Киев. Привокзальная площадь

От здания вокзала отъезжают кареты. Рядом с ними скачут конные жандармы. Выдыхают сизый бензиновый дым стартующие авто. Императорский кортеж выстраивается в длинную колонну и начинает спускаться вниз по брусчатой мостовой.

На кортеж смотрят киевские зеваки, люди приветствуют проезжающие экипажи и автомобили. В одном из них на заднем сиденье Столыпин.

В толпе стоит невысокий молодой человек и внимательно провожает машину премьер-министра глазами. Несмотря на жару, он в темном пиджаке, лицо у него бледное, как у покойника.

Кортеж сворачивает на Бибиковский бульвар и начинает движение вниз к Крещатику.

Дом семьи Терещенко на Терещенковской улице.

Гостиная на третьем этаже

У окна стоят Михаил и Федор Терещенко. Они видят конных жандармов, кареты, автомобили.

– Ну вот... – шутит Федор. – Не только я приехал в город на годовщину отмены крепостного права, но и сам государь-император.

– Столыпин уже несколько дней здесь. Готовил визит, – отвечает Михаил, отходя от окна. – Он, конечно, вешатель, но единственный человек в правительстве, который знает, что делает.

– Ты же у нас либерал, – говорит Дорик, хитро прищурившись. – Что же ты вешателя хвалишь?

Терещенко пожимает плечами.

– Как по мне, – продолжает Федор, прикуривая, – так он есть первый враг тех перемен, которых ты так ждешь. Террор он остановит, бомбистов перевешает, крестьян организует по западному образцу, поспособствует промышленности – глядишь, и менять ничего не надо будет. А монархия – такая же власть, как всякая другая: что конституционная, что наша... Накорми людей, напои, дай им зрелищ... Будет народ сыт – и ничего не случится.

– Людям нужны перемены, – убежденно говорит Мишель. – Нынешний строй прогнил насквозь, повсюду коррупция, головоутиение, невежество и эксплуатация человеком человека. Они лишены прав, многие голодают, у некоторых до сих пор четырнадцатичасовой рабочий день! И ты говоришь, что ничего не надо менять? А я уверен, что если этого не сделать, то нас сметут, как мусор! И одними реформами жизнь не изменить, голодных не накормить. России нужна революция! А демократию и свободу, Феденька, кашей да колбасой не заменишь!

– Вот почему я никогда не любил марксистские кружки, – ухмыляется Федор. – Высокопарные фразы, лозунги, декламации! Кашей и колбасой, конечно, свободу не заменить, братец, зато водкой – легко! Ты же народ только на картинках видел. Ты же с ними рядом не жил, его не знаешь. Приехал, приказал, уехал! Поговорил бы с дядей Сашей или с дядей Богданом. Марксисты... Смотрите, сами не испугайтесь того, что разбудите...

– А ты, батенька, реакционер! – Михаил грозит брату пальцем.

– Не только реакционер – еще и монархист! Мне нравится торжественность момента! – декламирует Дорик. – Смотри, как красиво едут! Какая другая власть так сможет! Не эстет ты, Мишель, не эстет!

Кортеж продолжает путь по Бибииковскому бульвару и братья теряют его из виду. Процессия выворачивает на Крестьянскую. Возле императорской кареты скачут офицеры охраны.

Подковы звенят по брусчатке, высекая искры.

Киев, Оперный театр. 1 сентября 1911 года

Братья Терещенко в своей ложе. Дают «Сказку о царе Салтане» Корсакова. Из ложи Терещенко видна главная ложа, отведенная для царской семьи – император с супругой и цесаревичем внимательно смотрят на сцену. Сановники и высокие чины в партере. Столыпин сидит в первом ряду с левого края.

Коридоры оперы пусты – только офицеры жандармерии, осуществляющие охрану высоких гостей практически на каждой лестнице, у каждой двери. Слышны голоса певцов и хора.

У дверей в вестибюль двое жандармов в парадных мундирах.

– Слышишь? – говорит один другому. – Это конец второго действия! Сейчас будут аплодировать...

Действительно, голоса умолкают, звучат аплодисменты, слышен гул голосов.

Жандармы распахивают тяжелую дверь главного входа в партер.

В зале уже зажглась люстра, публика разговаривает, кто продолжает сидеть, а кто стоит в проходах, общаясь между собой.

Мишель смотрит на публику в бинокль и говорит Федору:

– А вот еще один наш с тобой кузен, Дорик. Володя Муравьев с семьей, а с ними и Радзивилл. И Барятинский здесь. Видишь его?

– Вижу, – радуется Федор. – Давай-ка спустимся, поздороваемся!

Машет рукой Муравьеву-Апостолу, тот машет в ответ и жестом показывает, что спускается в зал.

– Пошли, Мишель, пошли!

Михаил и Федор выходят из ложи и идут по коридору.

Партер Оперного театра

Многие из приглашенных используют антракт как возможность переговорить. Зал полон и гудит от голосов. Публика в зале отборная – те же ордена, аксельбанты, мундиры, фраки, пышные платья летних расцветок. От чинов и бриллиантовых звезд должна кружиться голова. Министры, товарищи министров, генералы, полковники, зрелые дамы, девушки на выданье.

Братья идут по центральному проходу, и женская половина гостей обращает внимание на двух светских львов, бросая в их сторону заинтересованные взгляды.

Мишель и Федор вежливо раскланиваются.

– В такие минуты, – шепчет Дорик на ухо Михаилу, когда они проходят мимо очаровательной девушки, стоящей рядом с родителями, – я особенно остро чувствую, что женат. И завидую тебе, человеку свободному!

Их обгоняет невысокий человек во фраке. Он двигается расслабленно, но очень быстро и целеустремленно, направляясь к группе придворных, расположившихся у самой оркестровой ямы. У первого ряда партера человек поворачивает налево, оглядывается через плечо, и Михаил видит бледное одутловатое лицо со странными стеклянными глазами любителя кокаина.

Мишель переводит взгляд с одутловатого на группу мужчин, стоящую у края ряда, возле оркестрового ограждения, прямо под царской ложей. Это Столыпин, военный министр Василий Сухомлинов, обер-прокурор Синода Владимир Саблер, министр двора барон Фредерикс (он рассматривает публику, сидящую в ложах, через бинокль) и граф Иосиф Потоцкий. Студиозус идет к ним уверенным шагом завидевшего знакомцев человека.

Терещенко видит, что руки одутловатого пусты, но почему-то не сводит с него взгляда – просто не может, что-то не отпускает его, заставляя ловить каждое движение этого молодого человека. Голоса вокруг становятся просто фоном, гулом, лишенным смысла.

Одутловатый останавливается в двух шагах от статс-секретаря и стоит неподвижно до того момента, пока Столыпин не обращает на него внимание. Он прерывает беседу, поднимает глаза на стоящего перед ним молодого мужчину, и в тот же момент одутловатый сует руку в револьверный карман брюк и достает оттуда небольшой плоский пистолетик.

Выстрел из пистолетика несерьезный – словно пробка из бутылки с шампанским вылетела, только суше. Премьер успевает поднять руку, чтобы заслониться, стоящие рядом Сухомлинов и Саблин бросаются в стороны, словно от взрыва бомбы. Пуля попадает Столыпину в кисть, проходит навывлет и ранит музыканта в оркестровой яме. Тот громко вскрикивает, а пистолетик тут же хлопает во второй раз.

Столыпин остается стоять, а стрелявший поворачивается и идет прямо на ошоломевших братьев Терещенко. Михаил видит, как Столыпин делает жест рукой, показывающий, что все в порядке, но на белоснежном мундире министра расцветает алое пятно. К нему бросаются Потоцкий и Фредерикс, подхватывают под руки, не давая упасть, и сажают его в кресло. Раздается женский визг, сначала несмелый, а потом дамы, находящиеся поблизости, осознают, что произошло, и визжат уже по-настоящему.

– Убили! Убили!

Зал кричит вместе с ними – и те, кто видел покушение, и те, кто его не видел. Самые сообразительные кидаются прочь из партера. Самые благородные – к упавшему премьеру и царской ложе.

А убийца идет по проходу, и глаза у него совершенно пустые – без кокаинового блеска. Ни ненависти, и страха, ни радости – мучная бледность кожи, тонкая полоска шевелящихся губ – точно идет покойник.

Терещенко прекрасно видит это, между ними всего несколько шагов.

Барон Фредерикс поворачивается, топорщит свои холеные белые усищи и орет так, что разом перекрывает все, что твориться в партере.

– Вот он! Держите убийцу!

Стрелявший и ухом не ведет.

Мишель стоит на ватных ногах и наблюдает, как прыгает вперед шуплый Дорик и врезается плечом в одутловатого, выбивая у него из руки пистолет, а из груди – дыхание. Убийца падает, ударяется боком о кресло, пытается встать, но в это время подбежавший к нему офицер с погонями ротмистра ловко бьет его рукояткой нагана между лопаток. Терещенко торчит в проходе, как соляной столб. Его толкают со всех сторон, над упавшим одутловатым смыкается толпа, его топчут старательно и со вкусом. Подбежавшие жандармские офицеры пытаются отбить террориста, и его поднимают с пола уже окровавленного, ободранного, но глаза его по-прежнему холодны и пусты.

Мишель смотрит, как на руках мимо него проносят раненого Столыпина в пропитанном красным мундире. Он в сознании, и на лице статс-секретаря застыло выражение растерянности и удивления. Терещенко слышит запах горячей крови, исходящий от раненого, бледнеет.

Он поворачивается и видит царя, стоящего у балюстрады в ложе. Государь-император смотрит на происходящее в зале, нахмурившись и кусая губу. Он бледен. Руки его теребят лайковую перчатку. Около него с револьверами наголо застыла личная охрана.

Совсем рядом в Михайлом жандармы проволакивают стрелявшего.

Терещенко делает несколько шагов, садится в кресло и закрывает лицо руками.

Август 1911 года. Киевский дом Терещенко

– Это первый человек, в которого стреляли на моих глазах, – говорит Михаил, извиняясь. – Прости, Дорик, я растерялся.

– Вполне объяснимо, – говорит Федор Федорович успокаивающим тоном. – Я тебя не виню. Даст Бог, будет Петр Аркадиевич жив и здоров. Пуля в орден угодила и вовнутрь рикошетом пошла, без скорости. Но каков шельмец этот Богров? Он же легко мог и в государя стрелнуть!

Перед ними початая бутылка коньяка. Несколько пузатых бокалов. Дымятся сигары в пепельнице, и дым струится в мягком свете настольных ламп.

– Николай Александрович в ложе был. Может, боялся промазать?

– Да уж нет! Он в кого хотел стрелять, в того и стрелнул. И где была охрана? И каким образом вообще этот Богров прошел в театр с оружием, если не пускали без пропуска? – возмущается Федор. – Вот скажи мне, Мишель, как ты можешь помогать их движению? Пусть даже не самим террористам, хотя кто знает, кому именно идут твои деньги? Ты видел взгляд этого карбонария?

– Видел...

– Вот они – глаза твоей будущей революции! В них ничего нет, братец. Ничего. Только смерть.

– Не все революционеры такие, как этот.

– Миша, – говорит Дорик, понизив тон. – Вы не понимаете, с кем имеете дело. Это не шутки – это все очень серьезно. Ты же не помнишь, что творилось здесь в 905-м. А я помню. Ты скажи мне, братец, кому она нужна – революция?

– Народу.

– А кто это – народ?

– Все, кто живет в стране – народ, Федя.

– И я тоже народ?

– И ты. А что?

– А мне революция не нужна, Мишель.

– Таких, как ты и я – меньшинство, Дорик. Это у нас с тобой все хорошо. Большинство хочет изменить свою жизнь.

– Так я и не спору. А что ты знаешь про это большинство? Чего оно хочет? Что ему нужно? Ты когда-нибудь жил рядом с ними? Работал рядом? Крестил их детей? Ты видел, что такое толпа, Миша? Как она приходит к порогу твоего дома с дрекольем и вилами, с горящими головнями? Видел?

– Нет, не видел.

– А я видел. Это и был твой народ, Мишель. Революционный народ. С пустыми страшными глазами. Они ведь нас ненавидят, братец. Мы же эксплуататоры, рабовладельцы. Нас же выжечь надо, как клопное гнездо. Когда-то наша семья в забитой деревне Теткино поставила мельницу, разбила поля, дала людям работу и превратила это забытое Богом место в процветающее! А теперь выясняется, что мы, оказывается, поработили их! Школы, больницы, церкви, достойная работа, сытая жизнь – разве есть за что нас любить? Это повод нас ненавидеть. Явиться ночью на завод, где работал днем, и громить его. Жечь склады, ломать машины, грабить винные лавки, насиловать, убивать...

– Почему ты так судишь людей? – говорит Михаил, с изумлением глядя на брата. – О чем ты говоришь, Дорик?

– О том, что видел сам, Мишель. Слава Богу, у дяди тогда хватило решимости вызвать казаков. Если бы толпу не взяли в нагайки, то потом не остановили бы и картечью. Ты их не знаешь, братишка. Ты говоришь о народе, но понятия не имеешь, что он собой представляет в действительности. Рассуждаешь о необходимости революции, но не готов к насилию. Ты настоящий либерал, Миша: готов упасть в обморок от крови на чужом мундире, но вызываешь бесов, для которых кровь как вода. Не надо революций, Мишель.

– Тебе не было страшно? – внезапно спрашивает Михаил.

– Когда? Когда пришла толпа?

– Нет, когда ты бросился на Богрова. Он же мог тебя убить...

– Я не подумал об этом, – растерянно отвечает Дорик. – В голову не пришло. Его надо было остановить – вот я и остановил. Кто-то же должен был...

6 сентября 1911 года. Утро

По улице бежит мальчишка-газетчик. В его руках большая пачка газет, на передовице – портрет Столыпина.

– Свежие новости! – кричит мальчишка. – Свежие новости! Смерть Столыпина! Премьер-министр помер вчера вечером! Свежие новости! Прокурор говорит: «Террорист Богров будет повешен!»

Газеты быстро разбирают.

Один из покупателей «Ведомостей» – Терещенко.

Мимо проходят двое прохожих с газетами. Один говорит другому негромко, но Михаил его слышит:

– Достали-таки Вешателя. Гореть ему, убийце, в аду!

– Да тихо ты, Панкратыч! – отвечает второй и быстро, по-звериному, оглядывается. – Кто его знает, что теперь будет-то! Чему ты радуешься?

Михаил прямо на тротуаре читает передовицу, качает головой и входит в дом.

Он явно обеспокоен новостью.

Октябрь 1911 года. Киев. Телеграф

Работает телеграфный аппарат. Колотят по бумажной полоске металлические лапки.

Человек в нарукавниках берет полосу в руки, читает. Разрезает. Наклеивает на бланк.

По Крещатику едет мотоциклист в очках-консервах. Листья на киевских каштанах желтые. Часть упала на мостовые. Осень уже перевалила за середину, но еще тепло.

Мотоциклист сворачивает на Бибиковский, едет вверх, потом делает левый поворот. Тормозит у одного из подъездов на улице Терещенковской, звонит, а когда ему открывают, вручает телеграмму привратнику.

Слуга приносит телеграмму в гостиную на небольшом подносе.

Мишель одет и собирается уходить.

Михаил читает:

– С прискорбием сообщаем, что ваш дядюшка – Александр Николович Терещенко...

Мишель крестится, на его глазах слезы.

Киев. Аскольдова могила. Кладбище возле церкви-ротонды

Мелкий морозящий дождь.

У могилы стоит семья Терещенко почти в полном составе, но на этот раз они не одни – на похороны пришло много народа, целая толпа. Множество людей в мундирах, чувствуется, что это похороны не просто очень уважаемого человека, а государственного мужа. Черные зонты колышутся над непокрытыми головами. Дождь хлещет по траве, по плитам надгробий. Памятников много, кладбище старое, тесное, люди стоят прямо между могилами.

Священник читает поминальную молитву.

Гроб опускают в землю. Летят вниз комья жирной черной земли и растекаются по полированной крышке.

У могилы всхлипывающая вдова, рядом с ней, придерживая под локоть, мадам Терещенко – все такая же строгая, с сурово поджатыми губами. Рядом – супруги Ханенко, Богдан Иванович и Варвара Николаевна, чета Муравьевых-Апостолов. Молодое поколение семьи – многочисленные двоюродные и троюродные братья и сестры – тоже здесь.

У ворот кладбища вереница экипажей и машин.

Публика разъезжается.

Киевский особняк Михаила Терещенко. Гостиная

Входит одетый по-дорожному Федор Федорович.

Мишель обнимает его.

– Почему не раздеваешься?

– Зашел попрощаться. Жена ждет в экипаже. Едем домой.

– Самолеты зовут? – спрашивает Михаил с грустью.

– Зовут, – соглашается Дорик.

– А мое предложение?

Дорик качает головой.

– Не мое это дело, – говорит он виновато. – А раз не мое – толку не будет. Денег мне и моим детям хватит, да и не хочу я коммерцией заниматься. Я, Мишенька, хочу построить самый быстрый в мире самолет. А потом, после самого быстрого – самый большой. Ты себе помощника найдешь, дядя Богдан поможет, если попросишь. А меня не уговаривай, я на сахаре зачахну.

– Да я и не уговариваю, Федя. Доброй дороги!

– Не скучай. Я всегда буду тебе рад, так что... ждем в гости!

Они еще раз обнимаются на прощание.

– И помни, о чем я тебя просил, – негромко говорит Дорик. – Не играй с огнем. Эти люди тебя скушают, а косточки выплюнут. Ты не той породы, Мишель. Ты игрок, а не налетчик.

– Конечно, – отвечает Терещенко, похлопывая Федора по спине. – Ты за меня не беспокойся... Зачем они мне?

Поезд. У окна в вагоне стоит Мишель Терещенко.

За окнами снова дождь. На стеклах – россыпь капель.
Поезд въезжает под крышу вокзала.
Терещенко выходит из вагона и, пройдя по перрону, спускается по лестнице на мостовую.
За спиной у него здание Восточного вокзала Парижа.
Он садится в экипаж.
Коляска с поднятой крышей катится по парижским улицам.

Ноябрь 1911 года. Париж. Квартира Маргарит

Мишель и Маргарит лежат в постели. Ее голова у него на плече. Терещенко курит.
Оба молчат. За окнами – мерцающий электрический свет.
– Хочешь, я угадаю, что ты скажешь? – наконец шепчет Маргарит.
Мишель молчит.
– Ты скажешь, что Рождество и Новый год мы проведем раздельно.
Он продолжает молча курить.
– Так хочет твоя мать. А ты не можешь ей перечить. Что ты молчишь? Это так?
– На этот раз мама ни при чем...
– И что на этот раз?
Она откидывается на спину, и теперь они оба лежат, глядя в потолок.
Маргарит тоже закуривает.
– На этот раз – дела.
– Настолько важные, что их нельзя оставить даже на неделю?
– Настолько важные, что их нельзя оставить на неделю.
– Можно узнать – какие?
– Я занят семейным бизнесом – слежу за работами по реконструкции театров в Киеве и Петербурге, перестраиваю завод под Житомиром. Теперь мне не на кого положиться. Я один, Маргарит.
– Я все время одна, милый! И где ты проведешь Новый год?
– Семья соберется в Феодосии.
– Где это?
– Это в Крыму.
– И где этот Крым?
– На юге. Там тоже море, только другое – Черное. Я покажу тебе на карте...
– Твоя мать настолько меня не любит, что готова провести зиму вдали от Канн.
– Маргарит, ты преувеличиваешь!
– Я преуменьшаю, Мишель. Послушай, если ты настолько хороший сын, если ты так не хочешь ее огорчать, то почему бы тебе не убраться из моей постели? Насовсем! Твою мать это очень порадует!
Она пытается встать, но Терещенко придерживает ее.
– Потому, что я люблю тебя, Маргарит.
– Это не любовь, Мишель! – говорит она со слезами в голосе. – Это мука! Ждать тебя месяцами! Просыпаться от того, что послышался твой голос! Высматривать почтальона! И все время быть одной! Одной!!!
– Мы обязательно будем вместе!
– Я больше не верю твоим обещаниям...
– Я клянусь тебе, Маргарит – мы будем вместе. Пожалей меня, наберись терпения. Я делаю все, что могу.
– Ты делаешь недостаточно.
Он начинает целовать ее. Маргарит сначала сопротивляется, но под напором ласк сдается.

Ноябрь 1911 года. Париж. Сад Тюильри

Яркий осенний день. Воздух холодный, но солнце сияет вовсю. Между ветками парят тончайшие паутинки.

Мишель и Маргарит гуляют по саду.

Солнце выгнало парижан на улицы, на аллеях много народа – даже стулья расставлены вокруг фонтана, и на них сидят, греясь в лучах светила, словно коты, старики в длинных, до пят, пальто, с шарфиками на шее.

– Прекрасный день, – говорит Михаил. – У нас в это время уже лежит снег. Или слякоть и грязь по колено. Когда наступает зима, а зима в Петербурге длинная, я скучаю только по двум вещам: по тебе и по солнцу.

– Я скучаю только по тебе, – тихо отвечает Маргарит.

По ней видно, что она счастлива идти рядом с Терещенко. Видно и по лицу, и по тому, как она опирается на его руку.

Они проходят мимо нескольких пожилых мужчин, играющих в шары.

– Слушай, Марг, – Мишель внезапно останавливается. – У нас всего несколько дней друг для друга – давай-ка поедem к морю.

Уже знакомая нам прибрежная дорога. Над морем едет авто, в нем Мишель и Маргарит. Машина проносится мимо поворотного знака «Вилла Марипоза». Серпантин. Набережная Монте-Карло. Авто сбавляет ход.

Ноябрь 1911 года. Монте-Карло. Яхта Дорика «Диана»

– Вы только посмотрите! Мишка! Мишель! Ну глянь!

Дорик счастлив. Он вприпрыжку бежит по палубе, а Терещенко с Марг следуют за ним, осматривая новое приобретение – это паровая яхта. Она большая и роскошная – красивых линий корпус, высокие мачты, наклонная дымовая труба. Она вся сверкает в лучах холодного ноябрьского солнца – горят красным медные леерные стойки, желтый диск отражается в безупречно вымытых стеклах рубки.

– Я влюбился в нее, как в женщину! – признается Дорик. – Пошли! Я покажу вам кают-компанию!

Он шагает впереди гостей – тонкий в кости, худощавый, чтобы не сказать хрупкий – и с гордостью, словно не купил, а построил это судно, распахивает двери кают-компании.

Красное дерево, диваны, кресла, пряный запах табака.

Дорик падает на диван, отшвыривая прочь свою морскую фуражку.

– Какими судьбами, родные вы мои?

Он открывает графин с коньяком и плещет янтарную жидкость в стаканы на столике.

Марг и Мишель переглядываются.

– Решили заехать на несколько дней, – говорит Терещенко.

– Как я понимаю – инкогнито?

Терещенко ухмыляется и делает глоток коньяка.

– Правильно понимаешь.

Марг тоже берет со столика стакан и делает вид, что пробует спиртное, но на самом деле просто отводит глаза.

– Марг, – зовет ее Дорик. – Мишель! Я в любом случае, что бы не случилось, на вашей стороне. Перестаньте! Я, конечно, люблю тетю Лизу, но это не значит, что вас я люблю меньше!

Он поднимает стакан.

– За вас, родные мои! Вы моя семья!

Все трое выпивают по глотку.

– А теперь, – говорит Дорик, – самое интересное! Я покажу вам машинное отделение!
– Только не машинное! – Терещенко обнимает Марг за плечи. – Только не это, Федор!
– Придется, кузен! – Дорик манерно хмурит брови и надевает фуражку, залихватски сдвигая ее на бок. – Придется!

Ноябрь 1911 года. Монте-Карло. Вечер. Казино «Монте-Карло»

Перед входом останавливается машина. В салоне Маргарит и Мишель. Они выходят из авто, поднимаются по лестнице и входят в казино.

Здесь все, как было несколько лет назад, – люди, столы для баккара, рулетки, игры в кости. Людей довольно много – блещут драгоценности, шуршат платья, клубится над головами играющих табачный дым.

Пара проходит через игровой зал.

Мишеля окликает гортанный женский голос.

– Мишель?

Он оглядывается.

– Моник?

Моник не одна, с ней высокий седой мужчина.

– Я рада тебя видеть, Мишель!

Француженка целует его в щеку. Маргарит смотрит на нее с удивлением и в некотором замешательстве.

– Знакомьтесь, это мой муж, Альбер.

– Весьма рад...

– Альбер, Мишель – тот самый безумный русский, которому я обязана самым крупным выигрышем в своей жизни!

Мужчины жмут друг другу руки.

– Это моя невеста, мадмуазель Маргарит Ноз.

– Мадмуазель!

– Месье, мадам...

– Ты в Монте-Карло по делам, Мишель? Или приехал играть? – спрашивает Моник.

– Нет, мое главное дело сейчас находится рядом со мной.

– Если у вас нет дел, а для рулетки пока не настало время, так почему бы нам не пообедать вместе? – предлагает француженка. – Милая Маргарит, надеюсь, вы не возражаете? Я не собираюсь похищать у вас Мишеля, просто очень приятно встретить старого приятеля и познакомиться с вами.

Маргарит улыбается, но улыбка несколько натянута. Она чувствует, что между Мишелем и Моник что-то было, но не подает виду, что это ее заботит.

Ресторан казино

За столиком сидят Мишель с Маргарит и Моник с супругом.

– Тогда он снова делает ставку, – рассказывает Моник со смехом. – Крупье смотрит на него, как побитая собака, но игра объявлена, деваться некуда.

Мишель делает несколько глотков вина из бокала.

– Шарик прыгает, прыгает, прыгает... И когда он, наконец, останавливается, крупье уже мокрый как мышь и бледный как стена...

Судя по пустым тарелкам и бутылкам, обед заканчивается.

– Он смотрит на рулетку, видит, что Мишель снова выиграл, и буквально падает в обморок. Возле стола уже все – распорядители, охрана, старший крупье. Публика аплодирует и пьет дармовое шампанское, а сотрудники казино накрывают стол черной тканью и лица у них такие, словно кто-то только что умер!

– Я не любитель играть, – заявляет Альбер. – Но с удовольствием бы посмотрел, как вы обдираете этих шельмецов, месье Терещенко.

– А вы? – спрашивает Моник у Маргарит. – Вы, Маргарит, любите игру?

Маргарит уже освоилась и прекрасно скрывает свою настороженность за вежливой улыбкой.

– Я совершенно не азартна, Моник. Рулетка не возбуждает моего воображения, пока Мишель играет – я скучаю.

– Игра вас не развлекает?

– Нет. Мишель богат настолько, что не сможет проиграть все. Он и выигрывает потому, что не боится проснуться нищим. Просто ставит до того момента, пока не окажется в выигрыше. Риск – это тогда, когда ты играешь с судьбой: завтра ты или на щите, или со щитом. Или хозяин, или раб – тогда есть интерес. Если ты не можешь упасть, то нечего и волноваться.

– Ты преувеличиваешь! – улыбается Терещенко.

Видно, что он польщен, ему нравится внимание к его особе, ему приятна атмосфера скрытой ревности, которую создают две женщины, сидящие рядом с ним.

– Ну, так что, Мишель? – спрашивает Альбер. – Вы сегодня покажете свое мастерство? Мне кажется, в казино забыли о том, что кто-то может выиграть по-крупному!

Игровой зал. Теперь все четверо стоят у рулетки

Михаил и Альберт играют. К ним присоединяется Моник. Маргарит наблюдает за игрой со стороны, изображая интерес, но получается у нее плохо. Она устала. Все плавает в табачном дыму.

Она садится в стороне.

Михаил, Моник и ее муж продолжают играть, не обращая на Маргарит внимания.

В конце концов Маргарит встает и подходит к Терещенко.

– Мишель, я пойду в номер. Хочу спать.

Михаил не сразу ее слышит.

– Что, Марг?

– Я хочу уйти.

– Конечно же иди...

Он быстро, словно клюнув, целует ее в щеку.

– Я буду позже. Мне, кажется, начинает везти...

Он слегка пьян, раскраснелся. Бабочка на шее сидит кривовато. Глаза еще не стеклянные, но взгляд нерезок. Челка прилипла к влажному лбу.

Маргарит смотрит на него, собираясь еще что-то сказать, но передумывает.

– Мадам, – прощается она с Моник.

Та улыбается и кивает ей в ответ.

– Месье!

Еще одна улыбка от Альберта.

– Спокойной ночи, мадмуазель Ноэ!

Маргарит идет прочь от стола. Спина у нее совершенно ровная.

– Почему она уходит так рано? – спрашивает Альберт.

– Она устала, – поясняет Мишель. – Длинная дорога.

– Мне показалось, что она обижена, – говорит Моник, отпивая шампанское из бокала.

– Нет, что ты! – восклицает Терещенко. – Марг не тот человек, чтобы обижаться!

Маргарит выходит из зала, не оглянувшись. Слезы катятся у нее из глаз.

– Когда-нибудь, – говорит Моник так тихо, чтобы слышать ее мог только Мишель, – ты ее оставишь.

– Что за глупости ты говоришь?

– Это совершенно неизбежно, – Моник ужасающе серьезна. – Рано или поздно.

Терещенко закуривает, потом смотрит на Моник и снова спрашивает:

– Почему ты так думаешь?

– Есть слишком много вещей, Мишель, которые ты любишь больше, чем ее.

– Например?

– Например – себя.

Француженка смотрит прямо ему в глаза трезвым умным взглядом и добавляет.

– Например – игру. Например – женщин. Любовь, дорогой, это всегда немножечко жертва. Когда на жертву готов один из двоих – это не любовь. Впрочем, не печалься – все когда-нибудь заканчивается. И любовь, и везение. Ты собираешься делать ставку, мой азартный друг?

Ноябрь 1911 года. Казино Монте-Карло. Раннее утро

Стол рулетки накрыт черным сукном.

Управляющий подписывает чек. У него под глазами темные круги от бессонной ночи, кожа с землистым оттенком.

– Благодарим вас за игру, месье Терещенко. Надеемся, что вам у нас понравилось. После 10 утра вы можете обналичить чек там же, где и в прошлый раз.

За спиной Мишеля стоит Моник. Она одна, без мужа. В руках у нее большая пачка денег.

Терещенко забирает чек.

– Спасибо, месье. Обязательно навещу вас в следующий приезд.

Щека у управляющего слегка подергивается, но к лицу приклеена радушная улыбка.

– Будем счастливы принять вас вновь.

Михаил и Моник выходят на крыльцо.

Прохладное осеннее утро. Над морем едва-едва розовеет полоска рассвета.

– Ну? – спрашивает Моник.

Рот ее кривится в ухмылке.

– Что будем делать?

Номер гостиницы

Раскиданная одежда. На постели Мишель и Моник яростно занимаются любовью.

Когда все заканчивается, оба закуривают.

– Забавно, – говорит Моник. – Я уж думала, что никогда не буду делать глупости. Моему счастливому браку противопоказаны встречи с тобой, милый. Ты дурно на меня влияешь.

– Прекрасное окончание волшебной ночи.

Моник гасит сигарету в пепельнице и встает с кровати. Взгляд ее падает на софу, где лежит ридикюль с деньгами. Денег так много, что закрыть его не удалось.

– Конечно, волшебное, – в голосе Моник откровенная ирония. – Карета превратилась в тыкву, король-отец упал пьяным, Золушка сбежала, а принц по ошибке переспал с тетушкой-крестной. Единственное, что реально в этой истории – это деньги.

Мишель смотрит на нее, пока француженка одевается. У Моник все еще красивое тело, но это «все еще» теперь заметнее, чем во время прошлой встречи. Ей явно больше сорока.

– Вставай, герой-любовник. Мне пора возвращаться к своему гению от политики, а тебе – к твоей Золушке. Ночь кончилась, волшебство иссякло, добро пожаловать в реальную жизнь. Спасибо за все...

Она наклоняется и целует Михаила в губы.

– Прощай. Даст Бог – свидимся...

Утро. Номер в другом отеле, гораздо более роскошном, чем тот, в котором только что были Мишель и Моник.

Входит Мишель. В комнате светло, постель пуста и не расстелена. Видно, что в спальне не ночевали. Он снимает верхнюю одежду и ложится в рубашке и брюках поверх покрывала.

Смотрит на раскрытый шкаф. Вещи Марг исчезли.

– Прости, – говорит Терещенко в пустоту. – Я задержался. Очень везло.

Никто не отвечает. В тишине слышно, как тикают часы в гостиной.

Михаил закрывает глаза и едва заметно улыбается.

31 марта 1956 года. Монте-Карло. Прибрежное кафе

– Простите, Михаил Иванович, мне надо поменять пленку.

Терещенко постепенно приходит в себя, выныривая из прошлого. Пепельница перед ним полна окурков. Подошедший гарсон ее заменяет.

– Принесите-ка коньяку, – просит его Мишель на французском. – Только не в бокалах, несите сразу бутылку. Утро уже закончилось, не так ли, Сергей Александрович?

– Да как вам будет угодно, – отвечает Никифоров, склонившись над диктофоном. – Скажете – кончилось, так и будем считать.

– Поменяли?

– Почти.

– Значит, пока без протокола?

– Еще полминуты.

– Когда я в последний раз давал показания в России, таких игрушек и близко не было. Сидел писарь и скрипел пером. Часами. Страшная работа – сидишь, пишешь, а при тебе допрашивают, бьют, ломают кости, раздавливают гениталии. А ты все водишь пером, водишь, водишь...

– Ну, вот и все...

– Готовы? А вот и коньяк!

Гарсон наливает коньяк в бокалы.

– За что пьем? – спрашивает Никифоров.

– За знакомство. Включайте свою машинерию – я расскажу вам о том, как впервые встретился с вашим вождем. Это случилось как раз по дороге из Канн в Париж. Я ехал один. Мы с Маргарит не очень хорошо поговорили после той безумной ночи. Она осталась в отеле, а я направился в Париж, чтобы оттуда добраться до Москвы. Семья ждала меня в Феодосии, у нас был там большой дом. Думаю, маман не хотела ехать на Лазурный берег именно из-за Маргарит. Не хотела, чтобы я проводил с ней время. А здоровье моего младшего брата нуждалось в морском климате и Крым оказался именно тем, что нужно. Вот в поезде, идущем в Париж, я и познакомился с господином Ульяновым...

Ноябрь 1911 года. Поезд Канн – Париж. Ночь

Проводник заискивающе вежлив.

– Прошу прощения, господин Терещенко. Всего лишь час, и ваше купе будет готово...

– Конечно, – равнодушно отвечает Терещенко. – Я подожду. Все равно другого варианта нет...

– К моему глубокому сожалению, – выдыхает проводник. – Еще раз простите. Вот ваше купе на это время.

– Хорошо.

Купе второго класса – это не предел мечтаний, но когда прибываешь на вокзал за полторы минуты до отправления, сложно рассчитывать, что все сразу сложится, как ты хотел.

– Здравствуйте, господа и дамы.

Терещенко снимает пальто.

Кроме него, в купе едет мужчина средних лет, лысоватый, с усами и бородкой клинышком. В лице его есть что-то азиатское – то ли в прищуренных глазах, то ли в выступающих скулах. Одет неброско, по европейской моде. Рядом с ним дремлет женщина с симпатичными, но несколько тяжеловатыми чертами, волосы скручены в тяжелый узел на затылке.

Терещенко садится на свое место у окна. Горящий ночник позволяет ему читать. Он просматривает книгу, а его сосед по купе, которому тоже не спится, приглядывается к обложке.

– Кропоткин, – говорит он, наконец, по-русски слегка картавя. – «Великая французская революция». Достойное чтение! Я сначала не признал в вас земляка.

Михаил поднимает на него глаза.

– Так вы русский?

– А что? Незаметно?

– Пожалуй, нет. Когда мы здоровались, услышал небольшой акцент, но думал, что вы немец или австриец...

– Мы действительно долго прожили в Германии... – собеседник протягивает Михаилу руку для пожатия. – Ульянов, Владимир Ильич.

– Михаил Иванович Терещенко.

– Рад знакомству.

– Ваша супруга? – спрашивает Терещенко, указывая подбородком на спящую женщину. – Мы ей не помешаем?

– Ну что вы! Надежда Константиновна устала и, слава Богу, обладает здоровым сном праведного человека. – Ульянов улыбается. – Я представлю вас, как только она проснется. Простите, что отвлек вас от чтения разговором. Это ваша книга заставила меня побеспокоить попутчика. Ну и как? Вам нравится?

– Увлекательное чтение. Я с удовольствием читаю господина Кропоткина.

– Простите мне бестактный вопрос – вы анархист?

– Никоим образом!

– Значит, взгляды Петра Алексеевича вы не поддерживаете?

На этот раз улыбается Терещенко.

– Я, Владимир Ильич, не сторонник самоуправления и никак не считаю налоги средством ограбления. Скорее уж налоги можно назвать платой за цивилизованную жизнь... И я не понимаю, почему я плачу государству, а кто-то другой не платит потому, что не считает это справедливым. Возможно, что у бушменов или готтентотов и получится построить нечто основанное на общинной взаимопомощи, но в наших реалиях... За цивилизацию надо платить. Всем.

– Интересно, интересно... – Ульянов устраивается поудобнее и переплетает неожиданно худые пальцы рук перед собой. – Как я понимаю, вы с трудами князя знакомы. А как вы относитесь к его теории о гуманном дарвинизме? К его трудам о вредности государственного устройства, основанного на подавлении? Согласны ли вы с тезисом, что личность – душа революции?

– Вы – философ?

– Я, милостивый государь, всего лишь переводчик и публицист. И работы мои, в отличие от трудов Петра Алексеевича, вам были бы скучны. А вы? Можно я угадаю? Вы – буржуа?

– Не очень люблю это слово.

– Будь по-вашему... Слишком общее понятие. Негодное. Давайте конкретнее: вы не рантье – вы слишком энергичны для рантье. Не купец – встретить купца, читающего Кропоткина – это, знаете ли, больше, чем чудо... Вы – промышленник? Заводчик?

– Да.

– И, если судить по фигурам речи, образование университетское получили? Юрист?

– Снова угадали...

– Так мы с вами коллеги, Михаил Иванович. Я Казанский университет заканчивал по той же специальности. Но вернемся к князю Кропоткину... Уж больно вы меня заинтересовали. Вы же живете нынче в России?

– Имею счастье...

Ульянов хмыкает.

– Я, увы, такого счастья лишен. Обстоятельства, знаете ли... Вот вы, человек успешный и богатый, считаете ли Российскую Империю государством справедливым и правильно устроенным? Или же, как Петр Алексеевич, сравниваете с Римской империей и считаете необходимым сломать?

– Справедливым? Не считаю.

– А как реформировать собираетесь?

– Как в Европе... Разве плоха чем-то парламентская республика?

– В России? – переспрашивает Ульянов, улыбаясь.

– Конечно же, в России! – с неожиданным жаром говорит Терещенко. – А чем Россия хуже Франции?

– А царя, простите, куда денете?

– Царь может и остаться как символ России, как ее политическое знамя. Но самодержавие как политическая система себя изжила!

– Согласен, – серьезно говорит Ульянов, прищурясь. – Изжила. Значит, как во Франции? Монархия свергнута. Можно полюбопытствовать – как?

– Желательно мирным путем!

– Превосходно! Не могу себе представить, как у вас это получится, но положим... Свергли! И кто начинает править? Народ?

– А почему нет?

– Да я с вами не спорю, Михаил Иванович, я спрашиваю! Мой интерес чисто теоретический. Не каждый день приходится говорить об этом с людьми со стороны. Профессиональные революционеры давно уже ничего нового не высказывают, все больше спорят, кто самый главный да кто самый умный. Народ – понятие общее. Вот вы например, пошли бы править? Стали бы парламентарием? Министром?

– Пожалуй...

– Вот и отлично, – обрадовался Ульянов. – А что бы вы делали с теми, кто вашей властью недоволен? Ведь вы человек умный, понимаете, что таких было бы много? Могли бы, скажите, арестовать? Сослать?

– Если не будет другого выхода... Да.

– А особенно упрямых? Положим, они в вас бомбу кинули – могли бы повесить? Или расстрелять?

Терещенко молчит некоторое время, а потом уже более осторожно отвечает.

– Наверное, мог бы...

– Я не слышу уверенности в вашем ответе, Михаил Иванович. То есть – сослать противника вы точно могли бы, а вот повесить – так вряд ли. И что это значит? Это значит, что реформы ваши обречены на провал, а вы сами – на поражение. Нельзя ничего делать в белых перчатках. Вот вы книжку читаете о революции французской... Понимаете, что там произошло? Для того чтобы самые гуманные идеи и реформы стали действительностью, нужно было действовать решительно и жестко. Они убили сто тысяч – и проиграли. А надо было убить миллион или два. Революция – это не домашний доктор, это хирург, который должен отрезать и шить, но сначала отрезать. Народ можно привести к власти, но управлять им и страной должны те, кто умеет это делать. У кого есть не только идея, но и инструменты для ее воплощения. Вы не сможете управлять теми, кто вас не боится. Вас не будут слушать, ваши приказы не будут выполняться. Вас предадут при первой возможности и постараются занять ваше место. Все, как

описал Петр Алексеевич в своем труде... Мараты, робеспьеры, дантоны... А потом приходит Наполеон.

– Мне кажется, Владимир Ильич, что вы не учитываете разницу между французами и русскими, – резонно замечает Терещенко.

– И что? – вздергивает бородку Ульянов. – Какой народ гуманнее? Русский? Так это только у графа Толстого в романах... Нет добрых народов, Михаил Иванович, и нет злых. Каждый представитель по отдельности может быть добр и отзывчив, но стоит людям собраться вместе... Вы, господа интеллигентного происхождения, всю жизнь, живя рядом с народом, не берете себе за труд присмотреться – а что собой представляет ваш сосед? Даете ему гривенник на водку и даже представить себе не можете, что именно у него в голове происходит. И нет тут никакой разницы между французами и русскими – и те и другие ненавидят вам подобных, так как видят в вас классового врага, кровопийцу, эксплуататора... Хоть гривенник ваш и пропьют с удовольствием.

– На страхе ничего хорошего не построишь, – возражает Михаил.

– А без страха не построишь ничего, – говорит Ульянов твердо и взмахивает рукой, словно дирижер перед оркестром. – Ни-че-го! Толстой народ не знал, революции не понял, не оценил, а вот Пушкин людей понимал в тонкости, потому и написал: «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, кто замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая голова полущка, да своя шейка – копейка». Вот так, Михаил Иванович... Если хотите построить новый справедливый мир, готовьтесь делать несправедливости! А иначе – не будет ничего. Разве что сгинете зазря...

– Значит, реформы без крови вы не представляете?

– Уж простите меня великодушно, Михаил Иванович, – не представляю. Любое общество стремится к стабильности, а задача революционера – эту стабильность сломать. Революция – это излом, это рождение нового! Не бывает рождения без боли! Естественно, общество будет сопротивляться! И вот тогда понадобятся люди жесткие, способные на поступки! Не юродствующие толстовцы – интеллигентные хлюпики с дрожащими руками, а настоящие революционеры, крови не боящиеся, готовые пролить ее за идею...

– Пролить свою кровь или все-таки чужую? – спрашивает Терещенко.

– И свою, – серьезно говорит Ульянов, – и чужую. Но лучше – чужую, и много. Я слышу в ваших интонациях иронию, Михаил Иванович, а она неуместна. Я сам из интеллигентной семьи и знаю, что выходцы из нашего сословия ни на что не способны – кроме как постоянно ныть, сомневаться, проявлять нерешительность и мягкотелость, мучиться совестью – вот тут конкурентов нет. Но для решительных действий интеллигент непригоден. Или ему надо перестать быть самим собой, что, как сами понимаете, задача сложная! Интеллигенция – вовсе не соль земли! Это гумус, удобрение, на котором взойдет новое племя.

– Вы себе отводите роль удобрения?

– Я отвожу себе роль сеятеля, – улыбается Ульянов.

Но улыбка у него недобрая. Он прищурился и стал совсем похож на калмыка, и скулами, и глазами, и оскалом.

– Постойте-ка, – говорит Терещенко. – Я, кажется, вспомнил, почему ваше лицо показалось мне знакомым. Вы – Ульянов. Брат того самого Ульянова, что был повешен за царевбийство. Вы тоже революционер.

– Ну, я же представился, – отвечает Владимир Ильич. – Да, я тот самый Ульянов. Только нынче не революционер, а эмигрант, живущий на чужбине. Въезд в Россию мне закрыт, товарищи по борьбе либо сосланы, либо мучаются на каторгах, либо, как и я, кочуют по Европе, пишут статьи в политические издания и перебиваются переводами, чтобы существовать. И стоит нам начать хоть какую-то деятельность, как нас тут же гонят вон из страны. Но наше

время еще наступит, Михаил Иванович. Мы обязательно проведем в жизнь те реформы, о которых вы так страстно мечтаете. Мы изменим Россию. Только для этого нужна будет социалистическая революция, а не крестьянская – крестьянскую мы в 1905-м проиграли напрочь из-за соглашателей, болтунов и предателей. Нам нужна рабочая пролетарская революция под руководством настоящих социал-демократов, нам нужна гражданская война, которая легко наберет ход, потому что люди, как мы с вами уже выяснили, вовсе не добры и не гуманны. И в пламени гражданской войны родится общество, свободное от самодержавия и крепостничества, от жандармских держиморд и фабричного рабства. Вы ведь этого хотите?

– Полноте, Володенька! – раздается в купе женский, чуть дребезжащий голос. – Что ты пугаешь молодого человека? Говоришь так, будто бы все уже случилось!

Терещенко видит блестящие, чуть навывкате, глаза Надежды Константиновны, внимательно его разглядывающие. Она не спит и, вполне возможно, все это время прислушивалась к беседе. Взгляд у нее настороженный, недоверчивый, напряженный, хотя она изо всех сил пытается это скрыть.

– Это Михаил Иванович, Наденька, – представляет попутчика Ульянов. – Поклонник трудов князя Кропоткина. Мы с ним коротаем время за беседой о русской политике и французской революции.

– Надеюсь, Михаил Иванович, что вы не сочтете Владимира Ильича грубым, он вовсе не такой.

– Нет, что вы... – любезно отвечает Терещенко. – Мне очень любопытно. Ваш муж – прекрасный собеседник! Скажите-ка, Владимир Ильич, – обращается он к Ульянову, – а почему вы говорите только о крестьянской или пролетарской революции? Ведь в России вполне может случиться гуманная буржуазная революция... Если у руля преобразований станут высокообразованные люди, люди с либеральными взглядами, с определенным моральным кодексом... Все предпосылки для этого есть!

– Буржуазная революция? – переспрашивает Ульянов и смеется, отчего у него подрагивают плечи. – Михаил Иванович, вы в самом деле верите в то, что либералы на что-то способны? Что образованность как-то связана с моралью? Неужели вы полагаете, что людей можно поменять либеральными идеями? Научить огромную человеческую массу, которой вы хотите дать власть и избирательное право, не воровать, не пьянствовать, не лгать – одними уговорами? Ваша цель абсолютно недостижима без кнута и пряника, причем в большей степени именно без кнута! У человека нет мотива изменяться или прислушиваться к чужому мнению, пока он не боится неотвратимого наказания. Раньше этим неотвратимым наказанием ведал Бог, теперь будем вводить мы.

– Вместо Бога?

– Богу не будет места в новом мире, – усмехается Владимир Ильич. – С ним слишком много сложностей. Впрочем, Михаил Иванович, мы с вами заговорились и мешаем Надежде Константиновне спать. Да и я уже, честно говоря, начинаю клевать носом...

– Я выйду покурить, – говорит Терещенко, поднимаясь со своего дивана. – Благодарю вас за беседу. Рад знакомству.

Терещенко стоит в слабоосвещенном коридоре у окна и курит.

В купе темно: и Ульянов, и его супруга – просто две темные тени.

Михаил возвращается на свое место, садится и закрывает глаза.

Поезд гудит – раз, другой...

Это уже не паровозный гудок, это корабельная сирена.

Январь 1912 года. Феодосийская бухта

Солнечный зимний день. Невероятно синее, спокойное зимнее море.

В бухту медленно входит огромная паровая яхта с американским флагом на мачте.

Падают в воду якоря. На корме развевается американский флаг.

Михаил Терещенко отрывает от лица бинокль.

– Минимум футов триста, – говорит он с восхищением. – А может, и больше! Ты посмотри, какая красавица!

Пелагея тоже рассматривает стоящее на рейде судно через цейсовскую оптику.

– Хороша, – подтверждает сестра. – Интересно, чья она?

Молодые люди стоят на Набережной.

– Узнаем, – решительно говорит Михаил. – Давай-ка прогуляемся до порта и спросим в конторе.

– Они еще не подали документы, – возражает Пелагея, которой явно лень немедленно идти в порт. – И вообще... Чего это ты метушишься? Раз пришла, то никуда не убежит. Нам еще неделю здесь торчать, налюбуетесь!

– Я ее хочу! – заявляет Терещенко.

– Что?

– Я хочу эту яхту!

– Зачем тебе эта «Мавритания»? – ехидно спрашивает Пелагея. – Будешь возить пассажиров через Атлантику?

– Я буду возить себя! – заявляет Михаил. – И тебя, если не будешь надо мной подшучивать! Ты что? Не видишь, как она прекрасна! Мы же созданы друг для друга!

– Ты с ума сошел!

– Ну, уж нет! Я совершенно здоров! Просто я ее хочу! Давай, не ленись! Узнаем, кто ее счастливый обладатель!

– Ты ненормальный, – усмехается Пелагея, шагая вслед за братом. – Матушка в жизни не даст тебе потратить столько денег!

– А я ее уговорю!

– Ее невозможно уговорить!

– Всех возможно уговорить, сестрица! Всех! У каждого есть струнки, на которых можно сыграть... Мне нужна эта яхта. Представляешь, как она будет смотреться напротив набережной Круазетт, вся в огнях... Дорик со своим корытцем с ума сойдет от зависти! Давай-ка быстрее, ленивая барышня! Я сгораю от нетерпения!

– Мишель, они только спустили шлюпку! Куда ты бежишь?

Портовая контора

Чиновник через пенсне читает поданные бумаги и аккуратно переносит прочтенное в журнал прибытий.

– Владелец – Мортон Ф. Планта, порт приписки – Нью-Лондон, водоизмещение – 1823 тонны, 310 футов длиной... Машины мощностью 3500 лошадиных сил.

Податель бумаг сидит в кресле перед чиновником. Худощавый, аскетичный, с прямой спиной. Волосы аккуратно причесаны, капитанская фуражка на коленях.

Чиновник поднимает на капитана глаза.

– Она что? Самая большая в мире, господин Бертон?

– Вторая по величине, – отвечает капитан.

Причал порта

Капитан Бертон собирается садиться в шлюпку, но его останавливает оклик:

– Господин капитан!

Бертон поворачивается в сторону говорившего.

– Слушаю вас...

– Простите, капитан... – говорит Терещенко, сзади которого маячит Пелагея. – Могу ли я передать свою карточку вашему хозяину и попросить о встрече?

Михаил протягивает Бертону визитку.

– Попросить можете, – сухо отвечает моряк. – Но гарантировать вам встречу я не могу.

– И не нужно. Просто передайте мистеру Планту, что с ним ищет личной встречи друг человека, которого он, несомненно, хорошо знает...

– Могу ли я полюбопытствовать, кто ваш друг?

– Мистер Ротшильд-младший.

Пелагея смотрит на капитана с откровенным интересом, можно сказать, хищно смотрит – как кошка на неосторожную мышь.

– Я передам, – отвечает капитан все так же холодно и спрыгивает в шлюпку.

Он бросает взгляд на Пелагею и тут же смущенно его отводит.

Матросы берутся за весла.

– Я тоже хочу эту яхту, – говорит Пелагея, усмехаясь. – Так что, дорогой братик, у тебя есть союзник...

Январь 1912 года. Феодосийская усадьба Терещенко. Гостиная

В комнате Елизавета Михайловна, Пелагея, Лизавета, супруги Ханенко – Богдан и Варвара – дядя и тетя Михаила и Пелагеи, младший брат Николай – в общем, собралась вся семья. Чувствуется, что разговор напряженный и всем присутствующим не слишком приятен.

– Большой глупости я в жизни не слышала, – говорит Елизавета Михайловна с раздражением. – На это – ни копейки!

Михаил тоже зол. Он то и дело поправляет челку, которая валится на лоб, и краснеет лицом.

– Объясни – почему?

– Потому, что это дорогая и бессмысленная покупка.

– Она не бессмысленна! Это престиж нашей семьи в Канне! Ты бы видела, какую яхту купил себе Дорик!

– И видеть не хочу!

– Это не простая яхта, мама! Это принадлежность к клубу самых обеспеченных семей Америки и Европы! Это мудрое вложение денег, в конце концов!

– Ты называешь это транжирство мудрым вложением денег?

Елизавета Михайловна слегка поднимает левую бровь, что должно означать крайнюю степень иронии, и вопрошающе смотрит на Богдана Ивановича.

– Вынужден согласиться в этом вопросе с Мишелем, Лиза, – говорит Ханенко. – Как финансист он совершенно прав! Такого рода суда только дорожают со временем, если, конечно, следить за их сохранностью.

– Это чудесный корабль, мама! – с жаром произносит Терещенко. – Он может стать для нас домом. Вот скажи, разве тебе не утомительно каждый год по нескольку раз трястись с Николенькой в поездах? Разве не лучше было бы проделывать этот путь на яхте – в комфорте, роскоши и тишине? И для Николеньки лечение начиналось бы прямо на палубе «Иоланды» – морской воздух для него целителен!

Елизавета Михайловна смотрит на младшего сына – Николая, на Малика, как она его ласкательно называет, сидящего на кушетке. Глядит она на него совсем не так, как на остальных своих детей, а с настоящей нежностью. Этот восемнадцатилетний юноша в университетском мундире бледен и subtilen, в противоположность цветущему Михаилу и энергичным сестрам, и притом очень похож на свою родительницу.

– При чем тут лечение? – вступает он в разговор. – Мне просто нравится ходить на яхтах, куда больше, чем дышать угольной пылью в поезде!

– В следующий раз поедем пароходом, – заявляет сыну Елизавета Михайловна. – Да что там! На деньги, что твой брат собирается заплатить за «Иоланду», все ваши дети и внуки могут до конца жизни плавать в каютах первого класса!

– Мама! Неужели за свою работу на благо семейного дела я не заслужил права самостоятельно принимать решения?

– Во-первых, Михаил, – строго чеканит Елизавета Михайловна, – решения по поводу семейных дел принимаешь не ты и не я, а директор-распорядитель, назначенный твоим дедом – Богдан Иванович. Что-то я не помню в завещании деда Николы и слова о твоей самостоятельности в данном вопросе!

– Но моя доля от прибылей...

– Твоя доля от прибылей – тоже достояние семьи, Мишель, – перебивает его мать. – У каждого из нас есть доля в семейном деле, но продать ее или обменять на что-то никто из нас без ведома и согласия остальных не может. А уж просто выбросить деньги на ветер!!! Никто тебе такого разрешения не даст! Скажи ему, Богдан!

Ханенко разводит руками.

– Ты кругом права, Лизавета. Хотя отрицать того, что для нашего дела Миша сделал немало, я бы не стал и, признаю, именно его заботами наши капиталы приросли.

– Послушай, Миша, – мягко говорит Варвара Ханенко.

Это интересная женщина лет 45–50 с приятным открытым лицом, красиво посаженной головой, ухоженная и спокойная, с неожиданно крупными, почти крестьянскими руками.

– Я понимаю твоё намерение – корабль действительно красив, но ты даже не знаешь, какую цену выставит тебе хозяин. Надеюсь, что для тебя не секрет, что цена будет достойной? Может быть 200 тысяч, а может, и больше... На это золото можно построить ещё завод. Или купить не одну сотню прекрасных картин для нашего музея...

– Тетушка! Дорогая! У нас и так 2/3 всех денег идет на благотворительность! – восклицает Михаил. – Вы хотите отдать все? Я ведь говорю не о своей прихоти!

Пелагея смотрит на брата, едва заметно улыбаясь, – в этот момент он буквально пламенный трибун, выступающий перед Сенатом и народом Рима.

– Я говорю, что для нашей семьи это может стать связующим! Мы могли бы больше времени проводить вместе – не все же каждому сидеть в своей норе?! Уже этим летом можно побывать на греческих островах! Или отправиться на Майорку! Да куда угодно – хоть в Америку! Это не яхта, а настоящий фрегат! На ней даже рекорды скорости устанавливали!

Елизавета Михайловна смотрит на Николеньку, с восхищением слушающего брата. Видно, что и Пелагея с сестрой поддерживают Мишеля, да и Богдан и Варвара явно относились к горячей речи племянника со снисхождением.

– Это самая красивая яхта на свете! – продолжает Михаил. – Отец был бы счастлив иметь такую...

– Михаил, – прерывает его Елизавета Михайловна. – Я хотела бы поговорить с тобой наедине.

Терещенко замолкает.

– Я жду тебя в моей гостиной.

– Хорошо, мама...

Михаил следует за Елизаветой Михайловной.

Николенька подмигивает ему и показывает большой палец: мол, молодец, давай.

Гостиная мадам Терещенко

– Ты поступаешь непорядочно, Михаил, – говорит Елизавета Михайловна резко. – Ты пользуешься тем, что я вынуждена уделять большое внимание Малику, и играешь на его братской любви к тебе...

- Я ни о чем не просил Малика, – отвечает Терещенко сдержанно.
- Он уже не горит азартным пламенем. Они вдвоем, и притворяться не приходится.
- Зачем тебе эта яхта? – спрашивает мать.
- Она мне понравилась. Она – лучшая на свете. Я ее хочу.
- Ты полагаешь, что этого достаточно?
- Я полагаю, что мечты надо осуществлять.
- Ты даже не знаешь, продают ее или нет.
- Я смогу убедить хозяина расстаться с ней. Деньги, мама, делают чудеса.
- Это не твои деньги, это деньги семьи.

Михаил вздыхает, но продолжает беседу в спокойном тоне.

– Если ты помнишь, то ровно два месяца назад проходило заседание нашего Общества сахарозаводчиков, и дядя Богдан, как директор-попечитель, доложил о состоянии дел. Хочу тебя заверить, что, несмотря на растущие акцизы, налоги и прочие радости предпринимательства, за последний год мы стали гораздо богаче. Теперь мы стоим никак не меньше 60 миллионов рублей, и в этом состоянии есть и мой скромный вклад...

– То есть – ты заслужил себе игрушку?

– Мама, я говорю лишь о том, что наша семья вполне может себе это позволить. У Дорика, например, есть прекрасная яхта...

– Дорик не покупал себе крейсер.

– Федя человек семейный, ему надо экономить...

– А ты, значит, человек холостой? – Елизавета Михайловна смотрит на сына с едкой улыбкой. – Ну хорошо... Раз ты так хочешь эту громадину, то придется кое чем поступиться. Первое! Если... Я повторяю, если тебе удастся договориться о ее покупке, то она должна быть записана на мое имя.

– Да ради Бога! Мама! – всплескивает руками Терещенко. – Я только не пойму, зачем тебе это надо.

– Считаю это старческим капризом. Хотя мои соображения совершенно открыты: пока «Иоланда» будет принадлежать мне, я смогу следить за тем, как ты держишь данное мне слово.

– Но я еще не давал тебе слова! – удивляется Мишель.

– Сейчас дашь. По первому пункту мы договорились?

– Хорошо, мама. Мы договорились. Я запишу яхту на тебя.

– Отлично. Второе. Я даю тебе разрешение на покупку в том случае, если ты пообещаешь мне не жениться на своей белошвейке...

– Мама!

Терещенко вскакивает с кресла.

– ...пока я не дам на то своего разрешения.

– Как ты можешь?!!

– Да или нет? – Елизавета Михайловна стоит, положив тонкие кисти рук на спинку изящного кресла орехового дерева, лицо ее бесстрастно, но глаза горят победным огнем.

– Ты пытаешься меня шантажировать! – Мишель краснеет, голос у него срывается на крик.

– Да или нет? – повторяет мадам Терещенко.

– Почему? Ну почему, мама, ты так упорно мешаешь моему счастью? Чем она тебе не угодила? Ты ведь и двух слов ей не сказала!

Елизавета Михайловна молчит, разглядывая взбешенного сына, бегающего по комнате.

– Это подло – ставить меня в столь двусмысленное положение! Почему я должен делать выбор между Маргарит и своими законными желаниями? Почему ты все время пытаешься управлять мной – взрослым успешным человеком? Ты приковываешь нас к себе, не даешь строить собственную жизнь, семьи? Зачем это тебе, мама?

Он оказывается возле окна.

По случаю теплой погоды рамы приоткрыты.

Хорошо видна бухта, залитая ясным зимним солнцем. Вода кажется ртутью – на море полный штиль. На рейде возвышается профиль прекрасной «Иоланды».

Терещенко прерывает тираду на полуслове и останавливается, глядя на открывшийся вид.

Закуривает.

– Мне совершенно незачем управлять вами, – негромко говорит Елизавета Михайловна. – Во всем, что с вами происходит, виноваты вы сами. А я... Я просто вас хорошо знаю. Вы мои дети, Михаил, и я вас очень люблю. Все люди любят так, как умеют, не правда ли? Так да или нет?

Терещенко молчит, глядя в окно.

Елизавета Михайловна смотрит ему в спину, едва заметно улыбаясь.

– Договорились, – наконец-то говорит он.

Феодосийская бухта. День

По направлению к стоящей на рейде «Иоланде» идет моторный баркас, на его баке – Терещенко.

Баркас подходит к трапу яхты, и Михаил соскакивает на швартовочную платформу. Вот он поднимается по ступеням, сопровождаемый человеком в мундире капитана.

Салон яхты «Иоланда». День

Салон роскошен, но не так, чтобы резать глаза, а таким образом, чтобы быть максимально удобным во время долгого путешествия. Он не кричит о богатстве хозяина, как салон на яхте Дорика, а снисходительно намекает на то, что тут понимают толк в комфорте и хороших вещах. Прекрасная мебель, диваны, стулья с гнутыми спинками, огромный обеденный стол, кожаные курительные полудиваны и несколько массивных кресел той же кожи стоят чуть в стороне, окружая низкий инкрустированный серебром столик.

Навстречу Терещенко поднимается пожилой человек – седой, густобровый, с обветренным лицом и сеточкой мелких морщин вокруг глаз – такие образуются от привычки морщиться от яркого солнца.

– Добро пожаловать на борт «Иоланды», сэр, – говорит он на английском, разглядывая гостя.

– Благодарю вас, сэр...

Михаил склоняет голову в вежливом поклоне.

– Я Мортон Плант, владелец этого судна.

– Рад познакомиться с вами, сэр. Позвольте представиться – Михаил Иванович Терещенко.

– Русский друг господина Ротшильда... Присаживайтесь. Что будете пить? Виски, водку, ром? Или вы предпочитаете вино?

– Что пьете вы, сэр?

– Я? – Мортон усмехается. – После завтрака в моем возрасте положено пить шотландский виски. Говорят, он полезен для кровообращения и пищеварения, но, скажу вам по секрету, я пью его не потому... Мне просто нравится вкус!

Плант смеется, и Терещенко смеется вместе с ним.

– Тогда и мне виски.

– Прекрасно! Курите?

Мишель кивает.

– Тогда – угощайтесь!

Хозяин открывает ящик с сигарами.

Оба раскуривают сигары и лишь потом поднимают глаза друг на друга, выдерживая паузу.

– Скажу честно, – говорит Плант чуть погодя, закутавшись в плотный сигарный дым. – Сначала в мои планы не входила встреча с вами. Но выяснилось, что вы говорите правду. Барон Ротшильд-младший передает вам привет. Я заинтригован – что делает наследник сахарной империи в тихой и патриархальной Феодосии?

– Ответ прост, мистер Плант: здесь находится дом, принадлежащий моей семье. Брат Николай слабоват легкими, и иногда мы проводим в Крыму несколько недель зимой или весной.

– Тогда второй вопрос, мистер Терещенко...

Он выговаривает фамилию не без труда, но почти правильно – непривычно звучат только шипящие.

– Зачем вы искали встречи со мной?

– Я хочу поговорить с вами о настоящей любви.

– Со мной, мистер Терещенко?

– С вами, сэр. Потому что от вашего решения зависит моя судьба.

– Вы меня интригуете, – говорит Плант с улыбкой.

– Сэр, могу ли я просить вас дослушать меня до конца, каким бы странным не показалось вам сказанное?

– Я выслушаю вас, мистер Терещенко.

Мишель кладет сигару на край массивной хрустальной пепельницы.

– Я влюблен, – сообщает он американцу. – Я влюблен так, как не влюблялся никогда в жизни...

– Очень рад за вас, мистер Терещенко, но полагаю, что предмет вашей страсти не я?

– Конечно же не вы, сэр! Та, кого я люблю – настоящая красавица! Возможно, что в мире есть кто-то лучше ее, но не для меня. Я влюбился в нее с первого взгляда – увидел и заболел! Ее внешность, ее стройный силуэт... Всего три дня, как я увидел ее впервые, но мне кажется, что если я потеряю возможность быть с ней, касаться ее, заботиться о ней, то жизнь моя кончится...

Плант смотрит на Михаила с интересом, но на его лице отражается недоумение.

– Позвольте, я действительно не пойму, почему вы посвящаете меня в подробности вашей личной жизни? Ваше чувство трогательно, но какое отношение это все имеет ко мне? У меня нет дочерей на выданье, а внуки пока слишком малы. Это какая-то шутка, мистер Терещенко?

– Я совершенно серьезен, сэр. От вашего решения зависит, будем ли мы вместе.

– Вы уверены?

– Совершенно.

– Хорошо, хоть я и представить себе не могу, чем именно я могу вам помочь, но постараюсь это сделать... О ком идет речь? Как зовут вашу избранницу?

– «Иоланда», – говорит Терещенко. – Это лучшее имя из всех, что она могла бы иметь.

Плант некоторое время смотрит на Михаила, не говоря ни слова.

Потом негромко смеется, откинувшись на спинку кресла.

– Неплохо. Скажу честно, если бы вы сообщили мне цель вашего визита не столь экстравагантно, то наша беседа уже прекратилась бы... Мистер Терещенко, отдаю должное вашему дипломатическому таланту и оригинальному мышлению, но ничем не могу помочь вашей страстной любви. «Иоланда» нравится не только вам. Она нравится и мне. Мы знакомы не три дня, а достаточно давно. Можно сказать, что я знаю ее с детства. Мы многое пережили вместе – и шторма, и мертвый штиль – и все эти годы оставались верны друг другу. Увы, вы опоздали... Но не печальтесь, вы еще молоды и можете встретить кого-нибудь другого. Я не

готов расстаться с ней и боюсь, что у вас не будет аргументов, чтобы заставить меня поменять решение.

– А если я рискну попытаться? – спрашивает Терещенко.

Плант качает головой.

– Нет.

Михаил достает из внутреннего кармана чековую книжку и паркеровское перо.

– Тогда я не буду вас уговаривать, – говорит он. – Я сейчас заполню чек и проставлю в нем сумму, которая, как я полагаю, будет самым веским аргументом в нашей с вами беседе. Мы оба коммерсанты, сэр, оба знаем, что все в этом мире имеет свою цену. Если проявите благосклонность, то это несказанно меня порадует. Если же нет – просто порвите чек. В эту сумму входит все, что находится на «Иоланде», включая экипаж. Я хотел бы вступить во владение яхтой до конца недели. Вам, сэр, будут оплачены билеты в первый класс на всем пути следования...

– Скажите, мистер Терещенко, – Плант снова шуруется, – вы игрок?

– Да, – отвечает Михаил, заканчивая заполнять чек.

– Я так и думал, – говорит Плант. – Не хочу вас пугать, но поверьте моему жизненному опыту. Каждый игрок когда-нибудь проигрывает по-крупному.

– Или выигрывает.

– Или выигрывает, – легко соглашается Плант.

– У меня к вам просьба, – Терещенко встает, пряча «паркер» во внутренний карман. – Разорвете вы или не разорвете этот чек, пожалуйста, не разглашайте сумму сделки. Буду очень вам признателен. Придумайте какую-нибудь несуразицу, если пожелаете, но никому не говорите сумму.

– Вы так уверены в том, что я соглашусь на сделку?

– Искренне надеюсь. Позвольте откланяться?

Чек лежит на столе, ровно посередине, но ни Плант, ни Терещенко на него не смотрят.

Михаил подходит к дверям салона.

Плант берет чек со стола, смотрит на сумму.

Лицо его остается бесстрастным, но в глазах на миг все-таки проскакивает удивление.

Слуга распахивает перед Михаилом двери.

– Мистер Терещенко, – окликает гостя Плант, и тот с готовностью оборачивается.

– Да, сэр...

– Буквально несколько слов, – сдержанно улыбается Плант. – Вы молоды, а я еще не забыл, как прекрасно быть молодым. Делюсь опытом совершенно бескорыстно. Не бывает вечных побед, мистер Терещенко. Рано или поздно приходится попробовать на вкус поражение.

– Поражения делают нас сильнее, – отзывается Михаил. – Я их не боюсь.

– Это потому, что пока не проигрывали. Запомните: рано или поздно...

– Благодарю вас, сэр... Лучше – позже!

Терещенко выходит на палубу. Стоит, оглядывая безупречно надраенную палубу, сверкающие латунные леера, кристально чистые окна иллюминаторов надстройки. Потом поднимает голову и видит развевающийся на ветру американский флаг на верхушке мачты.

Он спускается в моторный катер и суденышко отваливает от борта яхты, тарыхтит движок, унося Терещенко все дальше и дальше от «Иоланды». Он стоит на корме катера, глядя на огромное, но притом изящное судно и видит, как американский флаг спускается, обвисая на фале.

И взлетает на мачту Андреевский флаг. Михаил торжествующе улыбается и, совсем как мальчишка, подпрыгивает, взмахивая руками.

Вот Терещенко помогает матери и сестрам перебраться с моторного катера на швартовочную платформу.

Вот их приветствует капитан Бертон, за спиной которого стоит вся команда «Иоланды», включая юнгу и коков.

Вот они идут все семьей по палубе яхты, а рядом шагает капитан.

Вот глядит на «Иоланду» из окна гостиницы и курит сигару ее бывший хозяин.

Входит слуга и говорит:

– Поезд через полтора часа, сэр. Прошу вас спускаться вниз.

– Хорошо, Генри.

Плант еще раз глядит на яхту, улыбается и едва заметно качает головой.

Потом берет со стола шляпу и выходит из номера прочь, оставив в пепельнице дымящийся окурок.

Вот длинный стройный корпус режет волну.

В рубке у штурвала Пелагея. Рядом, давая девушке инструкции, стоит капитан Бертон. Девушка стреляет глазами, но моряк невозмутим или хочет таким казаться.

Вот Терещенко курит, стоя у раскрытых дверей, Елизавета Михайловна сидит в шезлонге на палубе, а рядом с ней читает книжку Николенька.

И снова Пелагея, облокотившись на леер, поглядывает на Бертон откровенно призывно. На ней белое легкое платье и шляпка, ветер играет подолом, обнажая парусиновые туфельки и стройные лодыжки. Бертон видит, как под тканью обрисовывается округлое бедро девушки, и делает вид, что смотрит в другую сторону.

– Как же Блок? – спрашивает Терещенко, склонившись к ушку сестры. – Пелагея, дорогая, как же Сашенька?

– Сашенька – это Сашенька, – шепчет в ответ Пелагея. – А Бертон – это Бертон. И вообще, братец, не суй свой любопытный нос в девичьи грезы! Мне по душе не только поэты, но и капитаны!

Лето 1912 года. Канн

«Иоланда» стоит на якоре недалеко от набережной. С ее борта в воздух взлетают огненные хвосты фейерверков и рассыпаются в черном бархатном небе. На палубе смеющиеся Терещенко, две его сестры и Николенька.

Рядом с «Иоландой» вторая яхта, почти такая же большая и роскошная – с нее тоже летят вверх разноцветные струи огня. У ее борта Дорик с незнакомыми нам молодыми людьми и девушками. Все кричат, аплодируют и смеются.

Федор и Михаил явно соревнуются друг с другом – зрелище воистину феерическое. Вся набережная освещена зарядами и наполнена разодетой толпой.

Фейерверк бушует над берегом, как полярное сияние.

– Ура! – кричит Дорик и потрясает бутылкой шампанского, из которой во все стороны летят пенные брызги. На его плече висит молодая девушка в достаточно откровенном платье и пьяная до полусмерти.

Февраль 1956 года. Архив КГБ СССР. Комната для чтения документов

– Светские рауты. Игры в казино. Фейерверки в Канне. Театры, балерины, любовницы – случайные и постоянные... – перечисляет Никифоров. – Светский лев. Откуда столько материала?

– Архивы охранного отделения, – сообщает капитан. – Состоял под наблюдением с момента поступления в университет. Дело заведено в 1907 году. Ничего не предпринимали, не опекали, но аккуратно собирали всю доступную информацию...

– Коллеги, – улыбается Никифоров.

– Точно, коллеги, – отзывается капитан без тени улыбки на лице. – Можно только поучиться технике документирования. Технических средств практически не было, сплошная агентурная работа. Мастера вербовки. Вы... Прости, ты бы удивился, увидев списки людей, состоявших в агентах Охранного. Они тщательно отслеживали связи Терещенко с членами императорского семейства, с политиками и промышленниками, собирали информацию о контактах с членами революционного подполья, о торговых партнерах Всероссийского общества сахарозаводчиков и еще попутно имели отдельные дела на членов семьи Михаила Ивановича. После вступления Терещенко в масонскую ложу задокументировано практически все.

– Можно глянуть?

– Зачем спрашиваешь? Конечно. Отдельная папка.

– Ложа «Малая Медведица»...

Никифоров фыркает.

– Детские игры на свежем воздухе...

– Если мне позволительно высказать свое мнение...

– Да говори, говори...

– Не вижу ничего смешного – масоны в России были значимой силой, Сергей.

– Кто б спорил, – говорит Никифоров, – а я не стану. Да не смотри на меня так! Где твое чувство юмора? Название смешное...

– Согласен.

Никифоров листает бумаги.

– Керенский, Некрасов, Милюков, Коновалов, Гучков... Знакомые все лица!

– Гучков состоял в «Военной ложе».

– Да тут материала на сотню авантюрных романов! – искренне восхищается Сергей Александрович.

– Доступ к материалам по делу Терещенко ограничен. Даже тебе выписывали отдельный допуск.

В руках у Никифорова еще одна папка, на обложке выцветшими чернилами надпись: Терещенко Михаил Иванович, общие материалы, 1912 год.

– Что стоит посмотреть здесь? – спрашивает Никифоров, взвешивая на ладони пухлую стопку бумаги.

– Участие Терещенко в открытии больницы на Подоле. Присутствовали – он и чета Ханенко. Значимое событие, широко освещалось прессой. Часть благотворительных программ Фонда Терещенко. Все лето он занимался семейным делом – инспектировал соляные копи в Бахмуте, занимался реконструкцией сахарного завода под Винницей, был правой рукой своего дяди – Богдана Ханенко. Видишь это фото? Заседание Правления Товарищества. Михаил сидит справа от дяди.

– Это Киев?

– Нет, Петербург. А вот это фото – Киев. Фото из архива «Киевских Ведомостей». Дарение картины Художественному музею. Ханенко пригласили Михаила Ивановича на церемонию. Это его тетка – Варвара, она дарит полотно музею. А это – директор музея. Вообще, Художественный музей в Киеве – это дело рук их семьи.

– К своей французенке он так и не поехал?

– Ну почему? – спрашивает капитан, заглядывая в свои записи. – Поехал. В конце августа 1912 года.

Конец лета 1912 года. Париж

Терещенко едет по Елисейским Полям в открытом автомобиле.

Машина останавливается возле знакомого дома – тут находится квартира Маргарит.

Он взбегает по лестнице – в руках Михаила огромный букет роз.

Маргарит открывает дверь на стук и замирает от неожиданности – Терещенко почти не видно за букетом, настолько он большой.

Они целуются. Букет падает на пол.

– Почему ты не предупредил? – спрашивает она.

– Хотел сделать тебе сюрприз!

– Где ты был столько времени?

Он отстраняется, продолжая держать ее в объятиях.

– Работал, любимая...

Маргарит прижимается к его плечу, на глазах у нее слезы.

– Глупости какие... – говорит он. – Ну зачем слезы? Ты же знала, что я тебя не забыл. Я посылал тебе цветы каждую неделю, писал, звонил...

– Тебя очень долго не было. Прости. Это от радости.

– Я тоже очень скучал по тебе.

Михаил смотрит на нее, но Маргарит прячет лицо.

– Перестань, – улыбается Терещенко. – Слезы тебе к лицу. Ты и с ними красавица! Я приехал, чтобы пригласить тебя на ужин. Одевайся! Только не у меня на глазах, а то не будет ни ужина, ни сюрприза!

Теперь уже улыбается Маргарит.

– Подожди...

– У тебя пять минут! – командует Мишель.

– Десять! – возражает она.

– Хорошо – десять! – соглашается Терещенко. – Но не более!

Маргарит выходит из гостиной.

Они спускаются по лестнице.

Красивая пара – он в смокинге, она в элегантном вечернем платье – достаточно строгом, но далеко не целомудренном.

Машина едет по парижским улочкам, выскакивает на Бульвары.

Маргарит придерживает шляпку руками. Терещенко смеется.

Вечереет. Загораются мягким светом газовые фонари.

Пара выходит из авто возле ресторана «Максим». Метрдотель встречает их у входа.

Зал пуст и украшен цветами. Играет струнный оркестр. Официанты и повара стоят в ряд, встречая гостей.

– Ты никогда не была у меня на родине, и я решил привезти ее тебе, – объясняет Терещенко. – И украинские повара, и официанты, и метрдотель, и музыканты, и икра, и рыба, и дичь – привезены из моей страны. Даже шампанское из царских погребов в Абрау-Дюрсо... Так что сегодня в «Максиме» русский вечер.

Мишель и Маргарит садятся за столик.

– Мне нравится, – говорит она, оглядываясь. – Цветы, музыка, мы вдвоем... У тебя на родине так извиняются перед обиженными девушками?

– Я могу даже стать на колени!

– Тогда тебе стоит сделать русские вечера традицией. Я никогда не видела тебя на коленях!

Терещенко без стеснения опускается на колени.

– Теперь видишь? – спрашивает он. – Ты – единственная, перед кем я готов это сделать. Я прошу прощения за то, что так долго не приезжал к тебе, и готов искупить свою вину. Приглашаю тебя в Канн, Марг. Хочу познакомить тебя с «Иоландой»...

Улыбка слетает с лица Маргарит.

– Кто такая Иоланда?

– Да перестань ты, глупенькая... Что за ревности? «Иоланда» – это моя яхта!

Терещенко берет в руки ладонь Маргарит и нежно целует пальцы.

– Поедем сегодня ночью, дорогая. Я обещаю – это будет восхитительная неделя. Самая лучшая неделя в нашей жизни!

Средиземное море. Яхта Михаила Терещенко «Иоланда». Вечер

Яхта идет мимо мыса Антиб. Терещенко и Маргарит сидят на палубе, любясь начинающимся закатом. Кричат чайки. Едва слышно дышит могучая паровая машина «Иоланды». Лица у Маргарит и Мишеля умиротворенные.

– Маргарит, – говорит Терещенко. – Как бы ты отнеслась к тому, чтобы уехать из Франции?

– Зачем? – с удивлением спрашивает она. – И куда?

– В Петербург. Со мной.

– С тобой? Ты зовешь меня замуж, Мишель?

Он качает головой.

– Я зову тебя с собой, Марг... Я не могу на тебе жениться.

Она смотрит на Мишеля без всякого дружелюбия. Чувствуется, что разговор ей неприятен.

– Тогда не стоит об этом говорить. Мы провели прекрасную неделю. Ты не солгал – это были самые лучшие дни в нашей совместной жизни. Постарайся не испортить впечатление.

– Марг, я бы женился на тебе сегодня же, я хочу этого всем сердцем! Но я не могу переступить через...

Он запнулся.

– Я знаю, – говорит Маргарит, – что твоя мать меня ненавидит!

– Она не ненавидит... Понимаешь, у нее свой взгляд на брак.

– Надеюсь, тебе не надо напоминать, что это твой брак, а не ее? Я не собираюсь выходить замуж за твою мать.

– Маргарит, не злись... Я уверен, что рано или поздно мама изменит свое мнение. Она просто не знает тебя! Поверь, вообще-то у нее золотое сердце. Ты убедишься в этом, когда вы познакомитесь поближе.

– В мои планы, – отрезает Марг, – не входит знакомиться с ней поближе. И давай закончим этот бессмысленный разговор. Мы вместе почти пять лет, и все это время ты рассказываешь мне, что твоя маман обязательно изменится. А что ты расскажешь мне, когда она изменится в худшую сторону?

– Ты не понимаешь!..

– Что я должна понимать? – обрывает она тираду Мишеля. – Я должна принять то, что мужчина, который меня любит, живет за тысячи километров от меня? Что мы видимся несколько раз в год? Ты думаешь, я не понимаю, что ты не ведешь монашеский образ жизни? Я понимаю! Задай себе вопрос: сколько еще мы можем продолжать наши отношения? Год? Два? Три? Я и сегодня уже немолода для невесты. А какой я буду, когда твоя мама сменит гнев на милость?

– Поэтому я и зову тебя в Петербург! – восклицает Терещенко. – Зову жить под одной крышей! Ты же будешь моей женой перед Богом, зачем тебе обряд? Мы любим друг друга и разве нам нужно для этого разрешение?

– Я хороша для любовницы, но недостаточно хороша, чтобы быть женой! Твоя мать усматривает в наших отношениях мезальянс?

Маргарит близка к тому, чтобы взорваться.

– Конечно же, ее сыну в жены нужна не просто девушка из хорошей семьи – нужна как минимум графиня! Или княжна! Так? Кем я поеду за тобой? Содержанкой? В Париже у меня хотя бы есть друзья, какой-то круг общения. Я могу работать, если захочу! В конце концов, я могу в любой момент сесть в поезд и уехать в Прованс, к родителям! Что я буду делать в Петербурге? Сидеть взаперти, не имея возможности выйти в свет? Буду твоим трофеем?

– Маргарит...

– Я ненавижу ее. Ненавижу ее потому, что люблю тебя! – говорит она зло, чеканя слова. – Ненавижу, потому что ее спесь – единственная причина, которая не дает нам жить вместе!

– Марго, не говори ничего такого, о чем потом пожалеешь...

– Ах, да! Ни слова о твоей маман! Она – неприкасаемая! Это обо мне можно говорить все, что угодно! Так?

– У мамы – свои соображения...

– А можно услышать твои? Собственные?

– Я хочу, чтобы ты была со мной. У меня нет иных соображений.

– В качестве кого? Няни? Любовницы? Гулящей девицы? Или будешь держать меня в своем доме в Петербурге, как фарфоровую собачку на камине? Для создания уюта?

– Марг! Пойми! Я не могу на тебе жениться против воли матери! Я не могу разрушить нашу семью ради семьи своей! Я не могу разбить ей сердце!

– У нее есть сердце? – спрашивает Маргарит с угрожающей интонацией. – Если бы у нее в груди было сердце, а не ледышка, то она бы давно отпустила своих детей. И тебя. И твою сестру Пелагею. И Лиз. Но она держит вас рядом, называя свою деспотию – любовью. Держать кого-то в железной клетке – преступление, но запирает собственных детей в клетке из обязательств – еще ужаснее.

– Марго!

– Давай закончим этот разговор, Мишель. Что бы я ни делала, что бы ты ни говорил потом – сегодня я услышала правду: у тебя всегда будет своя семья, а я в любом случае останусь сама по себе. И наши чувства никак этого не исправят. Все, все, все... – она помотала головой, словно недовольный ребенок. – Достаточно. Не будем тратить драгоценное время. Завтра наша неделя заканчивается – мне пора в Париж, тебе – домой, заниматься делами. Налей-ка мне шампанского, любимый!

Он с готовностью выполняет просьбу, пытаясь выглядеть уверенным, но получается плохо. Похоже, что тирада Маргарит выбила его из колеи.

– Давай выпьем за нас, – предлагает Маргарит, поднимая бокал. – Знаешь, я ни о чем не жалею. Ни на секунду. Я даже рада, что встретила именно тебя. Ты яркий, Мишель. Ты обаятельный. Рядом с тобой хорошо.

Она отпивает глоток шампанского.

– От тебя остается приятное послевкусие. И ты сказочно богат, что добавляет тебе шарма...

Она невесело смеется.

– Не мужчина, а клад, который попал ко мне в руки. Возможно, не встретить я тебя, и в моей жизни не было бы красок. Скудное существование с каким-нибудь Полем или Анри. Трое детей. Монотонный быт, монотонные занятия любовью в тесной спальне... Жизнь с тобой, Мишель, – фейерверк. Ты – человек-сюрприз. И, наверное, хорошо, что мы видимся три-четыре раза в год, потому что постоянные сюрпризы утомляют. Пусть будет, как будет. За тебя!

Конец лета 1912 года. На борту яхты «Иоланда».

Средиземное море неподалеку от Кани. Ночь

Судно идет разгоняя ночь ходовыми огнями. На палубах горит только дежурное освещение. Ночная вахта. В рубке – рулевой и капитан Бертон: норвежцу выпало дежурить в это время.

В роскошно убранной хозяйской каюте на кровати спят Маргарит и Михаил.

В комнате легкий беспорядок, возле кровати на ковре несколько пустых бутылок из-под шампанского, пепельница с окурками, полные бутылки, бокалы, блюдо с фруктами...

Михаил спит на животе, обняв подушку. А Марго, если присмотреться, не спит. Вот она осторожно выскальзывает из-под простыни, набрасывает на плечи легкий, практически прозрачный, пеньюар, не скрывающий, а, скорее, подчеркивающий красоту ее обнаженного тела. Маргарит сует ноги в тапочки, поднимает с ковра бутылку шампанского и тихо выходит из каюты.

На палубе никого, августовская ночь тепла. Вдалеке видны огни берега. Маргарит идет по палубе, походит к борту и отпивает вино прямо из горлышка. Она смотрит на россыпь огоньков на берегу и пьет подвыдохшееся шампанское глоток за глотком. На лице нет ни тени улыбки, она озабочена и мрачна, она не плачет, хотя на глазах у нее слезы.

В каюте Мишель переворачивается на бок, пытается обнять Маргарит во сне, но не найдя ее рядом, просыпается.

– Марг! – зовет он.

Ответа нет.

Терещенко вскакивает, заглядывает в уборную, зачем-то открывает шкафы и лишь потом осматривает палубу через окно – никого.

– Марго! – негромко кричит он. – Отзовись!

Михаил торопливо натягивает брюки прямо на голое тело и выходит из каюты.

– Марго! – зовет он уже идя по палубе.

Он шагает вдоль борта, силясь разглядеть силуэт девушки игре тени и света.

Маргарит изрядно пьяна.

Она сбрасывает с плеч пеньюар, раскидывает в стороны руки, подставляя лицо ветру, закрывает глаза и наклоняется вперед, над леерами, чтобы воздух обдувал ее сильнее.

Терещенко выходит из тени, видит Маргарит и бросается к ней, громко окликая по имени. Девушка пугается, теряет равновесие и начинает падать вниз, в бегущую вдоль борта темную воду.

Михаил рвется вперед изо всех сил, девушка уже летит в волны...

Воздух рвет пронзительный крик.

Терещенко на миг замирает, но потом срывает со стены спасательный круг и, перекрестившись, перемахивает через ограждение.

Глава четвертая

Накануне

Конец лета 1912 года. Средиземное море неподалеку от Канн. Ночь

Удар об воду силен, Мишель выпускает из рук круг и начинает барахтаться. Волна от борта «Иоланды» отбрасывает его в сторону, и он снова судорожно хватается за круг.

Гладкий огромный бок яхты пролетает в нескольких метрах от него, далеко вверх светятся иллюминаторы.

– Марго! – кричит он, выхаркивая соленую морскую воду. – Марг!

Он уже за кормой «Иоланды». Терещенко с ужасом глядит на уходящее судно. Ему кажется, что на корме какое-то движение. Раздается звон корабельной рынды, а потом вой сирены!

Мишель еще видит, как за кормой вскипает бурун от включенных на реверс винтов, но судно водоизмещением почти в 2000 тонн не остановить быстро.

– Маргарит! – кричит Терещенко еще раз, и изо всех сил вытягивает шею, пытаясь различить хоть что-то на фоне темной воды.

Никого.

Он бьет ногами, чтобы плыть прочь от кильватерной струи, и продолжает звать Марго. Ответа нет. Над морем стоит мертвая ночная тишина. Позади Мишеля вспыхивают прожектора, но они далеко и свет их бесполезно шарит по черной глади.

Снова ревет сирена. Раз, другой, третий...

На борту «Иоланды» организованная суета. Поднятые по тревоге матросы спускают на таях шлюпку. Отдает приказы на норвежском Бертон. На корме ослепительным бело-голубым светом рвет ночь прожектор. Всматриваются во тьму наблюдатели. Но лучи света не могут ничего нащупать!

Скользит вниз шлюпка с сидящими в ней спасателями. В последний миг в нее прыгает капитан. Шлюпка падает брюхом на воду. Матросы берутся за весла.

С расстояния невозможно рассмотреть, что делается на «Иоланде», и саму «Иоланду» видно лишь благодаря сигнальным лампам на корме.

Терещенко выскакивает из воды по пояс, опираясь на круг.

Только темнота. Он видит лишь несколько футов пустого пространства, напоминающего расплавленную смолу.

– Марго!

Мишель уже не кричит, а хрипло каркает.

И тут Марг выныривает рядом с ним – мокрые волосы закрывают лицо, между прилипшими прядями сверкает ужасом глаз.

Она цепляется за Мишеля и тот от неожиданности ослабляет хватку, и они оба погружаются в воду. Марго тащит Терещенко вниз, в глубину, он старается вынырнуть и ему это удастся только потому, что он намертво вцепился в веревку на спасательном круге. Девушка повисает на нем почти без чувств, ее бьет дрожь – и от выпитого, и от пережитого ужаса.

Михаила тоже трясет. Он прижимает Марго к себе, словно стараясь согреть и защитить одновременно.

– Ты сошла с ума... – выдавливает из себя Терещенко. – Что ты делаешь? Зачем?

– Ты мог не прыгать за мной, – шепчет Марго. – И было бы лучше...

– Кому было бы лучше, глупенькая? Кому? Я не хочу потерять тебя. Я не могу даже подумать об этом!

– Я не хочу, чтобы ты делал выбор между своей семьей и мной...

– Не думай об этом, Марго. Я найду решение.

Терещенко заглядывает в лицо Маргарит, силясь разглядеть в глазах девушки отклик на его слова. Но глаза Маргарит закрыты, щеки мокры от слез.

– Ты говоришь это потому, что не веришь в то, что нас найдут...

– Бертон нас найдет. Слышишь? Они уже ищут нас.

Над морем несется резкая трель свистка. В небо взлетает огненный шнур и расцветает куполом осветительной ракеты. Потом слышен звук выстрела.

– Мы здесь, – кричит Терещенко. – Мы здесь!

Но расстояние между ними и шлюпкой очень велико. Голос теряется, не долетев до Бертона, который стоит на носу лодки и управляет прожектором. Рядом с ним боцман ожесточенно дует в свисток каждые несколько секунд.

Еще одна ракета заливает светом все вокруг.

Марго утыкается Терещенко в плечо.

– Не бойся, они уже рядом.

– Я не боюсь. Я люблю тебя, Мишель. Я так тебя люблю, – шепчет она.

– Хочу от тебя ребенка... – говорит он шепотом, хотя никто не может их услышать. – Ребенка... Слышишь?

На них падает луч прожектора.

– Вот они! – говорит Бертон по-норвежски.

Матросы налегают на весла.

Марг и Терещенко поднимают из воды.

Капитан набрасывает на девушку китель, прикрывая ее наготу.

Мишель по-прежнему держится за круг, а боцман пытается забрать его у Терещенко, то из этого ничего не выходит – у Михаила мертвая хватка. Наконец-то общими усилиями удается разогнуть руку и разжать ему пальцы.

– Он сумасшедший! Зачем он прыгал? – говорит Бертон на норвежском боцману. – Будь волна на фут выше, и мы бы никогда их не нашли. Ни его, ни ее...

Терещенко начинает хохотать. Сначала тихо, а потом все сильнее и сильнее.

– Что случилось, сэр? – спрашивает Бертон на английском. – Вы в порядке?

– Я не умею плавать, – говорит Терещенко, продолжая смеяться. Слезы текут у него из глаз. – Вы не поверите, Бертон, но я не умею плавать. Я совсем не умею плавать!

Февраль 1956 года. Москва. Архив КГБ СССР.

Комната для чтения документов

– Кто бы мог подумать?! Такие чувства! – говорит Никифоров, откладывая в сторону очередной лист, и непонятно, считает он так всерьез или иронизирует. – Особенно странно читать об этом эпизоде, зная, сколько посторонних связей у него было... Десять? Двадцать? Или сто двадцать?

– Если это вопрос, то я могу посчитать, – отвечает капитан. – Но мне кажется, что количество здесь не играет значения. История отношений Терещенко с первой женой, конечно, кажется странной, но, насколько я могу судить, их до определенного момента связывали достаточно искренние чувства. Они много времени проводили раздельно, и Маргарит не могла не догадываться о том, что Михаил Иванович не ведет жизнь монаха.

– А она сама?

– Вы о ее личной жизни?

– Да.

– Не могу сказать ничего. Я не занимался этим вопросом.

– Молодая интересная женщина... Ладно, давай замнем. Какая папка следующая?

В дверь стучат.

Входит сотрудник, внося металлический поднос с чаем и пачкой сигарет.

– Эта... – капитан протягивает Никифорову еще одну папку.

На обложке выведена дата – 1912–1913 годы.

Петербург. Октябрь 1912 года. Квартира литератора Алексея Ремизова

Вечер. В комнатах накурено. Жарко. Открытые форточки от духоты не спасают. Но все присутствующие, кажется, этого не замечают.

В гостиной идет жаркий спор.

– Господа! Дамы! Тише! – говорит высокий худощавый мужчина с совершенно лысой макушкой и пышными усами. – О приоритетах издательства мы уже договорились – мы будем самым рискованным проектом начала века! Мы привлечем к себе внимание российской интеллектуальной элиты, самых передовых мыслителей, бунтарей, настоящих литературных революционеров! Никакой классики! Никакого гнилого морализаторства! Только авангард! Только декаданс! Только реальная жизнь!

– Бугаев, – говорит негромко Блок, развалившийся на диване. – Ты гений! Какое отношение декаданс и авангард имеют к реальной жизни? В одну телегу впрячь не можно...

Он слегка пьян, но пока только слегка. Хотя стакан с коньяком, который он держит в руках, явно намекает на то, что трезвым он останется ненадолго.

Все смеются.

– Оставь, Саша! – отмахивается пышноусый, тоже улыбаясь. – Это фигура речи!

– Ну почему? – возражает хозяин квартиры, литератор Алексей Ремизов, обращаясь к выступающему. – Почему же фигура речи, Андрей? Все передовое в современной литературе так или иначе отражает реальную жизнь!

– Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена!
Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!
Тусклые Ваши Сиятельства! Во времена Северянина
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт!

Декламирует Блок со своим каменным выражением лица.

– Это, по-твоему, отражает реальную жизнь? Во времена Северянина? Я и Константин Дмитриевич – идем только после него? «Я – гений Игорь Северянин!», – интонация у Блока вовсе не дружелюбная. Он делает большой глоток из стакана и снова обращается к собеседнику. – Искусство, дорогой мой Бугаев, вовсе не отображает реальный мир. Оно его искажает. Или украшает, или уродует, что, в общем-то, одно и то же... Но никогда не показывает его беспристрастно, потому что человек – существо хитрое, злое и скрытное. Даже то, что ты пишешь под псевдонимом Белый, доказывает мою правоту. Почему для читателей ты не обычный Бугаев, а Андрей Белый? Почему Саша Гликберг не Гликберг, а Саша Черный?

– Ну, с Гликбергом, – резонно замечает Ремизов, – более-менее понятно...

– Ах, оставь... Просто мы все стараемся показаться лучше, чем есть на самом деле, и наши псевдонимы – самое малое, в чем мы готовы обмануть читателя. Поэтому, друг мой Белый, перестаньте вводить публику в заблуждение! Реальность! Зачем людям читать о реальности? Она и так вокруг них – двадцать четыре часа в сутки! Задача нашего издательства – дарить людям мечту! Кому надо – сны, кому надо – жаркие революционные споры, кому надо, – правда же, Пелагеюшка? – любовное томление в стихах...

Терешенко курит в форточку, со вниманием наблюдая за спором. Неподалеку от него Пелагея – сидит за столом и пытается вести протокол собрания, выписывая на бумаге крючки стенографических знаков. Рядом с ней сестра Елизавета. Обе одеты строго, волосы забраны.

– Давайте не будем спорить, – говорит сидящий в кресле круглолицый человек в пенсне. – Этот спор ни о чем. Пелагея Ивановна, что мы внесли в план?

– Минуточку, Разумник Васильевич, – отзывается Пелагея, заглядывая в записи. – Собрания сочинений Ремизова, Гиппиус, Брюсова, Пяста, роман Андрея Белого...

Она поднимает глаза от списка и улыбается тому сквозь дым. Белый отвечает такой же улыбкой.

– Есть договоренности с Бальмонтом, – продолжает она.

– И со мной, – перебивает ее Блок, поднимая стакан.

– И с вами, Саша, – подтверждает Пелагея. – И с Вячеславом Ивановым...

– Господа, – вмешивается Терещенко, гася сигарету в полной окурков пепельнице. – Дамы! Послушайте! У нас грандиозные планы и все шансы стать самым известным издательством России. Я не сомневаюсь, что мы соберем самых лучших, самых модных, самых просвещенных. Думаю, что издательство даже может приносить немалый доход и мне с сестрами, и вам... Завтра мы подпишем бумагу о его создании, но...

Он делает паузу.

– Пока у нас нет даже имени... А что такое издательство без имени? Его и нет вовсе! Нам нужно название звучное, запоминающееся, красивое и... необычное!

– «Златоуст»! – говорит Блок.

– Это ваше предложение? – спрашивает Елизавета, тоже принявшаяся записывать за говорящими.

– Нет, Лизонька! – лицо Блока неподвижно из-за болезни, поэтому он всегда кажется дьявольски серьезным. – Я о твоём брате. Как только речь зашла о доходе, так он сразу и заинтересован, и красноречив. Меркантильные люди вы, фабриканты! Но он прав! Нам нужно действительно красивое название. Лучшее!

– «Златоструй»! – предлагает Пелагея.

– Что за «Златоструй»? – возмущается Блок. – Пелагея Ивановна! Что за пошлость, ради Бога!

– «Феникс»? – предлагает Ремизов.

– Звучит неплохо, – соглашается Блок, – но вызывает неприятные ассоциации. Я бы предложил мифическую птицу Рух, но, боюсь, не поймут.

– Если уж речь пошла о птице, господа литераторы, – говорит Терещенко, – то как вам вариант «Сирин»?

– Звучит красиво – «Сирин», – Ремизов словно пробует слово на вкус.

– И символично, – подтверждает Блок.

– И запоминается, – улыбается Пелагея. – Ну, господа литераторы, мне записывать?

Октябрь 1912 года. Петербург

Та же комната, но в ней уже не так накурено и в окна попадает неяркий осенний свет солнца. На столе накрыт легкий фуршет, стоят бутылки с шампанским, бокалы.

Чьи-то руки вешают на стенку красивый сертификат в рамке, на котором можно прочесть разборчиво написанное название: «Издательство «Сирин»».

– Поздравляю!

– Поздравляю!

Хлопают вылетающие из бутылок с шампанским пробки.

К Терещенко подходит Белый, рядом с ним мужчина со значительным лицом, с ухоженной, аккуратно подстриженной бородой. Он явно старше и Белого, и Терещенко, но выглядит молодо за счет своего сложения и общей ухоженности.

– Миша, позволь тебе представить – Александр Иванович Гучков, мой старый друг. А это, Александр Иванович, мой друг – промышленник и меценат Михаил Иванович Терещенко.

– Наслышан о вас, – говорит Гучков, пожимая руку Мишелю. Его большой палец ложится между второй и третьей косточкой-казанком кисти Терещенко и слегка нажимает на впадинку. – Внимательно слежу за вашей деятельностью, Михаил Иванович, и восхищен как вашей энергичностью, так и разнообразием ваших интересов!

– Польщен, что нашли для нас время, – Мишель делает легкий поклон в сторону Гучкова. – Интересоваться искусством и литературой среди государственных забот, Александр Иванович, это достойное занятие. Андрей мне тоже много рассказывал о вас, я знаю, что вы любите поэзию, но отдаете предпочтение прозе.

– Вы правы... А я слышал, что у вас большие планы! Это так?

– О да... – смеется Терещенко. – Я надеюсь показать, что издательское дело в России может быть не менее выгодно, чем производство сахара.

– Возможно, так оно и есть...

– Возможно. Но пока... Поверьте на слово, Александр Иванович. Дело обстоит иначе – пока это совершенно некоммерческий проект.

– Инвестиции в духовность, – отвечает Гучков серьезно, – одни из самых выгодных в долгосрочной перспективе. Не буду говорить, что они мостят человеку дорогу в рай, но гарантируют прижизненное уважение – это точно. Андрей уверил меня, что вы готовы предоставить трибуну писателям любых убеждений?

– Совершенно любых. Лишь бы было талантливо написано.

– Цензоров не боитесь?

– Не боюсь. Не то сейчас время.

– Время для цензоров всегда то, Михаил Иванович, – улыбается Гучков. – Это литература может быть не востребована, а вот запрещать приходится всегда. Я вам говорю как член Государственной думы. Но меня радует ваш оптимизм. Кстати, позвольте спросить... Почему вы до сих пор чураетесь политики? При ваших деньгах, вашей энергичности, ваших зарубежных связях вы могли бы быть чрезвычайно полезны державе.

– Я, честно говоря, Александр Иванович, плохо представляю себя в роли государственного деятеля...

– А в роли издателя модернистской литературы?

– Тоже пока с трудом...

– Вопрос привычки, не так ли?

– Возможно, – вежливо отвечает Терещенко. – До сего времени я был чиновником по особым поручениям при дирекции Императорских театров. При чем без содержания, что меня вполне оправдывает!

Оба смеются.

– А что если... – предлагает Гучков, – вы для начала возглавите какой-нибудь комитет или подкомитет?.. А там можно подумать и о том, чтобы избраться в Думу. Отечество нуждается в энергичных людях, Михаил Иванович. Вы чувствуете в воздухе запах перемен?

Терещенко кивает.

– Новое неминуемо приближается, – говорит Гучков негромко, склоняясь к плечу собеседника. – Каждый, кто прошел акколаду, в трудные дни должен подставить свое плечо стране... По доброй воле и без принуждения... Не так ли, Михаил Иванович?

– Да будет так, – откликается Терещенко вполголоса.

Москва. Тверская. Весна 1913 года

– Саша! Вертинский!

Человек в длинном шегольском пальто останавливается и, обернувшись, кричит:

– Миша!

– Как же я рад тебя видеть!

Вокруг шеи Вертинского – белоснежный шарф настоящего кашемира, в руках – трость и белые же лайковые перчатки, в глазу монокль. Кожа бледна.

– Ты прямо как со сцены! Рассказывай, как тут у тебя дела!

– Ты какими судьбами здесь, Мишель?

– Я теперь в военно-промышленном комитете, Саша...

– Государственный деятель! – констатирует Вертинский. – А я, брат, у Мозжухина теперь снимаюсь! Это тебе не в Думе штаны протирать!

– У самого Мозжухина! – искренне восхищается Терещенко. – Слушай, холодно же, давай зайдем куда-нибудь, я тебя больше года не видел!

– В чайную? – предлагает Вертинский.

– Только не в чайную! – Терещенко, протестуя, поднимает руки. – Давай в приличное место! Заодно и пообедаем вместе?

– В приличное место? – морщится Вертинский. – В Москве?

– Ты этот столичный снобизм брось! – смеется Терещенко. – Ты теперь и сам москвич! Поедем в «Прагу»? Тут рядом...

Москва. Весна 1913 года. Ресторан «Прага»

Вертинский подходит к столику и садится, взяв в руки меню.

– Так, все... Руки я уже помыл, можно приступать...

На одной ноздре у него видны следы белой пудры.

– И давно, Саша? – спрашивает Терещенко.

– Что?

– Нюхаешь давно?

– А... Ты об этом? Пару лет как... А что, заметно?

– Есть такое.

– Сейчас все нюхают, – сообщает Вертинский спокойно. – Кто морфином балуется, кто героином, но я это не люблю. Меня от морфия в сон клонит, а от героина все чешется потом. Люблю кокаин!

– Он тебе помогает?

– Он делает меня свободным, – улыбается Вертинский, заложив ногу на ногу.

Весь он такой щеголь-барин – добрый, красивый, вальяжный.

– С ним я пою, с ним я танцую...

– А без? Помню, в Киеве ты употреблял...

– Так в Киеве я так не танцевал, – смеется Вертинский. – Слушай, Миша, не волнуйся. У меня все в порядке! Приходи сегодня вечером в Летний театр – сам убедишься! Ты же «Танго» не видел?

– Только слышал! От Блока, между прочим!

– И он меня хвалил?

– Был в восторге!

Вертинский расплывается в довольной кошачьей улыбке.

– И ты приходи! Повосторгаться! Лучший номер Москвы! Народ толпами валит, чтобы посмотреть! Представляешь, Станиславский меня не взял! Я для него недостаточно талантлив! Я слишком легковесен для МХАТа! Для того чтобы сниматься с самим Мозжухиным, я не легковесен, а тут... В общем, пусть теперь ходит на меня смотреть!

Глаза у Вертинского становятся блестящими, зрачок во всю радужку.

– Ты не волнуйся, Миша! – говорит он, нагибаясь через стол поближе к Терещенко. – Я контролирую процесс. Это не болезнь, и зависимости у меня нет. Я в любой момент могу начать честно пить водку. Это все временно... временно... временно...

Он наливает воду в стакан и подносит его к губам, но тут руки начинают дрожать, вода расплескивается и Вертинский быстро ставит стакан на стол.

– Сейчас... Сейчас это пройдет. Ты сегодня приедешь, Миша?

– Конечно, приеду...

– Ты только не забудь, – просит Вертинский жалобно. – Это самый лучший номер в Москве. Это мое «Танго»...

Терещенко смотрит на Вертинского с сожалением.

– Что с тобой? – спрашивает он. – Ты сам на себя не похож.

– Я похож!

Он снова берет в руки стакан, и рука почти не трясется.

– Просто была тяжелая ночь.

– Будь осторожен. Я прошу тебя, Саша.

– Я осторожен, – отвечает Вертинский, пряча глаза. – Не волнуйся ради Бога, Миша...

Антверпен. Бельгия. Лето 1913 года

Ресторан отеля. Терещенко завтракает.

Подходит мэтр и что-то говорит вполголоса. Потом передает Михаилу визитную карточку. Терещенко читает и кивает головой.

Напротив спустя несколько секунд садится невысокий человек невыразительной наружности, вероятно, ждавший только приглашения.

– Добрый день, господин Терещенко, – говорит он по-французски. – Благодарю вас за гостеприимство.

– Хотите кофе, господин Якобс?

– Не откажусь.

Терещенко делает знак рукой. Метрдотель, внимательно наблюдавший за гостем, кивает.

– Итак? – спрашивает Терещенко.

– Мне сказали, что вы ищете что-то необычное...

– Возможно.

– Насколько необычное?

Терещенко пожимает плечами.

– Не понимаю.

Перед гостем ставят чашку кофе, небольшой кувшинчик со сливками, тарелочку с бельгийским печеньем, сахарницу с серебряной крышечкой.

– Благодарю, – говорит Якобс и робко, как девушка, улыбается мэтру, потом снова переводит взгляд на собеседника. – Кого вы хотите удивить, господин Терещенко? Мать? Жену? Невесту? Делового партнера? Человека, в услугах которого вы нуждаетесь?

– Любимую женщину.

– Это подарок к дате?

– Это подарок к рождению ребенка.

– Простите меня за бестактность, господин Терещенко, но я должен спросить у вас, чтобы не выглядеть глупым – насколько сильно вы любите эту женщину?

– Боюсь, что это не имеет денежного эквивалента, – отвечает Михаил с некоторым раздражением.

– Все на свете имеет денежный эквивалент, – говорит Якобс вежливо, но очень твердо. – Особенно когда человек хочет купить что-то действительно необычное у ювелиров в Антверпене. Что ж, месье Терещенко, я полагаю, что вы обратились по адресу. Я готов предложить вам действительно уникальную вещь.

Якобс становится невероятно серьезен. Улыбка исчезает. Брови сходятся к переносице.

Он достает из кармана небольшой мешочек черного бархата и кладет его на стол. Потом достает из кармана кусок белой замши и расстилает перед собой. Еще одно движение – и на замшу ложится огромный синий алмаз. Он не огранен, но все равно его красота и размеры поражают.

– Что это? – спрашивает Терещенко, который несколько ошарашен.

– Это? Лучший подарок из всех возможных. Воистину королевский. Сто пятьдесят карат. Скажу по секрету, он добыт в Голконде и привезен сюда не совсем легально. Надеюсь, вас это не смущает? У каждого камня есть своя история, и как человек, семья которого торгует алмазами последние 300 лет, я знаю, что большинство этих историй очень неприглядные. В случае чего я вас пойму...

– Меня это не смущает.

– Превосходно. Тогда внимательно посмотрите на этот алмаз. Не думаю, что кто-нибудь и где-нибудь предложит вам нечто подобное. Потому что ничего подобного в мире нет.

– И вы не побоялись принести его сюда? Просто так? В кармане?

– Я в этом городе никого не боюсь, господин Терещенко. Я мог бы обронить этот мешочек по дороге и мне бы с извинениями принесли его спустя полчаса. Видите ли, бизнес с алмазами дает в Антверпене определенные привилегии. Понимаете, о чем я?

– Пожалуй...

– Тем лучше. Продолжим знакомство? – Терещенко кивает, и тогда Якобс берет алмаз в руки и начинает поворачивать так, чтобы лучи солнца попадали вовнутрь кристалла. – Этот камень – двойник алмаза «Хоуп». Вам знакомо это имя?

– Нет.

– «Хоуп» был одним из глаз бога Рамы, вернее, его статуи в храме, в Коллуре. Потом его выковыряли из глазницы Рамы воры, и некий француз по имени Тавернье привез его в Европу. Камень купил Кольбер и подарил королю Людовику XVI – так что, говоря о королевском подарке, я не преувеличивал. До этого он был огранен моим прапрадедом в форме груши и стал весить 110 карат – и в таком виде попал на орден Золотого руна. После казни короля он сменил множество хозяев, переезжал из страны в страну, побывал в руках у Пьера Картье, снова был перепродан... А вот его двойник – второй глаз Рамы – никогда и нигде не появлялся. Хотя на самом деле Тавернье выкупил у воров оба камня. Выкупил, привез в Европу, но никогда и никому не говорил о том, что у «Хоупа» есть двойник – безымянный и такой же красивый. Этот алмаз сейчас перед вами, господин Терещенко. Вы – первый посторонний человек за последние сто двадцать лет, который его видит. Я бы никогда не предложил его на продажу, реликвия, как-никак, но, увы, не так часто попадаются люди, готовые уплатить за вещь ее настоящую цену. Я как торговец просто не могу упустить такой случай...

– Сколько он может стоить? – спрашивает Терещенко хрипловато и откашливается. Видно, что он поражен, но старается это не показать.

– Это стоит, – говорит Якобс, делая акцент на «стоит», – пятьсот тысяч франков.

– Сто тысяч долларов?!

– Всего сто тысяч долларов, – отвечает на восклицание Якобс. – Что такое деньги в сравнении с алмазами? Ничто. Деньги – это всего лишь деньги, а алмазы – вечны! После огранки он будет прекрасен и вы сможете дать ему имя. Например, имя вашей возлюбленной. Или вашего ребенка. Будьте уверены, оно останется в веках...

– У него уже есть имя, – Мишель достает чековую книжку и вечное перо.

– И какое, разрешите полюбопытствовать?

– Имя нашей семьи. Терещенко.

– Оригинально, – отмечает Якобс, наблюдая, как Михаил выписывает чек. – Но трудно для произношения и запоминания европейцем.

– Придется научиться, – говорит Терещенко, протягивая чек гостю.

Осень 1913 года. Петербург

Заседание Всероссийского военно-промышленного комитета.

Председатель представляет присутствующим Михаила Терещенко.

– Господа, позвольте представить вам моего заместителя, промышленника, председателя Киевского военно-промышленного комитета господина Михаила Ивановича Терещенко...

Терещенко слегка склоняет голову в знак приветствия.

– Садитесь, Михаил Иванович, – предлагает председатель, и Мишель садится по правую руку от него. – Господа, сообщаю также, что Михаил Иванович взял на себя заботу о российском Красном Кресте...

Ночь с 31 декабря 1913 года на 1 января 1914 года.

Отель «Де Пари», Монако

Разодетая толпа в зале ресторана. Люди в карнавальных костюмах. Серпантин, конфетти, горящие бенгальские огни. Десятки гостей на балконах.

На палубе пришвартованной напротив набережной яхты «Иоланда» Мишель и Маргарит. Они пьяны и веселы. Играет музыка. Взлетают в воздух шутихи.

– Десять! – кричит распорядитель на берегу и толпа повторяет за ним: Десять!

– Девять!

– Девять! – вторит толпа.

Ветерок доносит эту переключку до палубы яхты.

Борт яхты «Иоланда». Новогодняя ночь

Маргарит стоит рядом с Терещенко, опираясь на леера. Она закутана в соболью шубу – мороза, конечно же, нет, но с моря веет прохладой. В руках у обоих бокалы с шампанским.

– Два!

– Два!

– Один!

– С Новым годом! – говорит Терещенко и целует Марг.

С берега, со специальных платформ на море в воздух взлетают фейерверки, расцветая в небе яркими цветами. Ночь становится днем. В этом свете видно, сколько людей собралось на набережной, чтобы полюбоваться зрелищем и встретить Новый год.

– Я и не надеялась, что ты приедешь, – отвечает Марг после поцелуя. – Я так ждала тебя на Рождество!

– Я не мог вырваться из Петербурга до Рождества, – объясняет Мишель. – Сейчас у меня так много работы! И Дума отнимает время, которое я бы мог потратить с большим толком. Я действительно не мог приехать на Рождество, да и мама была бы чрезвычайно огорчена моим отъездом. Но я прощен? Я успел?

– Конечно же, прощен, – смеется Маргарит, хотя при упоминании о Елизавете Михайловне по ее лицу пробежала тень. – Я так редко тебя вижу, что не хочу терять драгоценные минуты на ссоры. Ты здесь, рядом. Мы на борту «Иоланды». Бертон за штурвалом, в кают-компании накрыт роскошный стол...

– А в нашей каюте расстелена постель... – говорит Терещенко ей на ухо. – О чем, кстати, ты забыла упомянуть...

– Давай поздравим Бертон! – вспоминает о капитане Маргарит.

– Бертон! Бертон!

Сверху появляется голова капитана.

– Слушаю вас, месье и мадмуазель!

– С Новым Годом, месье Бертон! – кричит ему Марг, – Пусть этот год будет для вас счастливым!

– Благодарю вас, мадмуазель Марг! – отзывается капитан. – И вам обоим всего лучшего! Я был бы очень благодарен, если бы вы отошли от ограждения. Вода сейчас вовсе не августовская, и мне становится беспокойно...

– Я так по тебе соскучился, Марг... – говорит Терещенко на ухо Маргарит – Если бы ты знала, как я по тебе соскучился... Только о тебе и думал...

Борт яхты «Иоланда». Новогодняя ночь. Каюта Терещенко

На широкой кровати спит Маргарит. Терещенко лежит рядом с ней и курит, глядя в потолок. Вот он давит сигарету в пепельнице и тихо поднимается с постели. Накрывает обнаженное плечо Марг одеялом и, взяв одежду в охапку, осторожно выходит из каюты.

Михаил перед зеркалом завязывает бабочку, надевает смокинг и поднимается на верхнюю палубу. Бертон по-прежнему там. На берегу веселится толпа, слышен звонкий женский смех.

– Готовьте моторный катер, – приказывает Терещенко. – Я иду на берег.

Бертон не задает вопросов, молча исчезает в полумраке.

Катер, негромко постукивая мотором, идет к берегу. На носу его стоит Терещенко.

Не дождавшись, пока катер пришвартуется, Мишель спрыгивает на причал.

– Ждите здесь. Буду через пару часов.

Казино «Монте-Карло», новогодняя ночь

Терещенко в ликующей толпе. Он поднимается по ступенькам казино и входит в здание. Висит пластами табачный дым. Столы, столы, столы... Фишки, карты, вращающийся круг рулетки...

Мишель садится за стол, покупает фишки.

Он поднимает глаза и видит сидящую напротив него Моник.

– Я была уверена, что ты придешь... – говорит она.

– Разве я мог не прийти? – спрашивает Терещенко и улыбается. – В такую дивную ночь? По пять тысяч франков для начала, – говорит он крупье. – На 17 и 23.

31 марта 1956 года. Монте-Карло. Прибрежное кафе

– Забавно, правда? – спрашивает Терещенко.

На столе рядом с ним полупустой бокал с коньяком. В пепельнице дымится сигарета.

– Я никогда не представлял себе жизнь без игры... В самые тяжелые для меня годы я находил возможность приехать в казино и испытать фортуна.

– И никогда не проигрывали? – спрашивает Никифоров.

– Никогда. Я всегда оставался в плюсе. Знаете, для большинства игроков есть универсальное правило – нужно вовремя остановиться. Я не умел тормозить, меня несло, за игровым столом я сходил с ума и был готов делать любые глупости, но мне баснословно везло. Я вообще крайне везучий человек. Не стану утверждать, что Бог меня любит, но он явно ко мне неравнодушен. Война вынесла меня к вершинам, революция, которую я так желал и приветствовал, не съела, а лишь изжевала – да выплюнула. Разве это не везение?

Он невесело посмеивается.

– Лишенный всего состояния, выброшенный умирать подальше от родины, я за пару лет стал одним из уважаемых банкиров Европы, заплатил по чужим счетам и снова поднялся вверх. Разве это не поцелуй удачи? Я жил на полной скорости, Сергей Александрович. Я за свои годы сделал и пережил столько, что на десять жизней хватит! Да – я игрок, да – я любитель женщин! И пил я часто не зная меры, и играл рискованно... Но никто и никогда не расскажет вам, что

я сдался на милость судьбе! Четырнадцатый год был очень тяжелым для меня. Я до сих пор вспоминаю его с дрожью...

1914 год. Украина. Имение «Вольфино». Весна

Управляющий встречает Мишеля на пороге родительской усадьбы.

Украина. Бахмут, соляные копи

Катится по дороге коляска – в ней Терещенко и другой управляющий.

Терещенко инспектирует соляные шахты.

Едет вниз клеть.

Михаил с сотрудниками в большом форменном картузе и плаще проходит по огромной соляной пещере.

Украина. Имение Федора Терещенко «Червоное»

Михаил и Федор Федорович обнимаются у мастерских. Дорик перемазан в саже и масле. Терещенко смеется. Брат ведет его по своим владениям – по кузнице, по механическому и сборочному цехам, по пылающей жаром литейке, по моторной мастерской...

Вечер.

Братья сидят в той самой гостиной у камина с бокалами коньяка в руках. Федор Федорович рассказывает что-то кузену, оживленно жестикулируя. На стенах гостиной – фотографии самолетов и детей Дорика. На специальной полке модель «Ильи Муромца» – самого большого самолета в мире на тот момент, построенного на деньги Терещенко. Множество самых разных фото, но нигде нет изображения жены.

– Думаю, что самая удачная модель у меня, – говорит Федор Федорович, смакуя выпивку. – Это дешевле, чем покупать «фарманы». Мне достаточно двигателя, а планер, шасси и все рулевое мы сделаем прямо здесь, в Червоном. Ты сам видел, с моим оборудованием и людьми – это раз плюнуть! Армия выиграет вполтину!

– Я впечатлен, – Терещенко качает головой. – И сколько машин ты можешь делать за месяц?

– Сейчас? Думаю, три. Если получу заказ и заранее куплю все нужное, найму дополнительно людей... До десятка. Мы разрабатываем новые модели, более скоростные, с улучшенным управлением, для них понадобятся мощные моторы 45–50 сил как минимум, но быстрее в небе никого не будет! Но делать это без военного заказа... бессмысленно. Для летных школ достаточно и нескольких штук в год. А вот для армии, для войны... Скажи мне, Мишель, – Дорик прикуривает сигару, – ты даже думаешь, что война неизбежна?

– В последнее время все говорят об этом...

– О да... – смеется Дорик. – Об этом даже в нашем киевском болоте говорят. А ты что думаешь?

– Думаю, что такое может случиться. Когда все говорят о войне, сама война – это только вопрос времени.

– Слишком много нерешенных вопросов, – говорит Федор Федорович с грустью.

– Я бы сказал – слишком много противоречий в интересах, – Терещенко тоже раскуривает сигару и выпускает сизую струю густого дыма. – И амбиций. Никто не хочет договариваться. И прежде всего – мы. Все ждут выгоды от конфликта.

– И, что любопытно, мне тоже выгодна война, – кивает Дорик. – Война – это потребность в самолетах. А самолеты – это я. Вот такие дела, кузен дорогой...

Открывается дверь. На пороге темноволосая, стройная женщина лет двадцати пяти. Строгое платье, ровная спина, поднятый подбородок. Глаза в глаза, взгляд не отводит, смотрит колюче, словно ждет чего-то неприятного, но при этом улыбается.

– Давно хотел вас познакомить!

Дорик встает, Мишель тоже.

– Это Любовь Александровна Галанчикова, Миша. Мой летчик-испытатель.

– Весьма рад, Любовь Александровна.

– Наслышана, Михаил Иванович.

Терещенко целует Галанчиковой руку.

Дорик подвигает к камину третье кресло. Заботливо помогает женщине сесть, поправляет шаль, наброшенную на плечи.

В его движениях сквозит нежность. Их руки соприкасаются на долю секунды, и Федор Федорович садится на место.

Терещенко смотрит на каминную доску, на фотографии, на модель «Ильи Муромца» и переводит взгляд на кузена. Тот виновато улыбается и едва заметно разводит руками – мол, что поделаешь...

1914 год. Украина. Киев

Терещенко на заседании попечительского совета городской управы.

Он за столом с супругами Ханенко.

Он в ложе Киевской оперы вместе с Дориком.

Консерватория. После выступления оркестра вышедший на сцену городской чиновник говорит о вкладе Михаила Ивановича и его семьи в строительство Консерватории.

Терещенко стоит в ложе, публика аплодирует.

Поздняя весна 1914 года. Москва

Вот уже автомобиль с Терещенко за рулем едет по улицам Москвы. Михаил входит в резиденцию генерал-губернатора. Деловой прием в разгаре – Терещенко, Гучков и еще один невысокий человек с бородой, во внешности которого едва заметно прослеживаются восточные корни, беседуют, стоя чуть в стороне.

Конец весны 1914 года. Петербург. Издательство «Сирин»

Терещенко с сестрами в помещении издательства «Сирин». Вместе с ними Белый и Блок. В комнате полно людей богемной наружности – здесь весь литературный цвет столицы: поэты с подругами, поэтессы с друзьями, пьяная литературная братия создает самую настоящую салонную обстановку. В центре действия не Михаил, хотя у него в руках только что напечатанные тетради с романом Белого «Петербург» – в центре Пелагея с Елизаветой. Весь стол завален сигнальными экземплярами. Везде шампанское – полные, пустые и полупустые бутылки. В углу двое молодых поэтов с платками на цыплячьих шеях хлещут из горлышка коньяк.

Елизавета и Пелагея счастливы, глядя на все это непотребство – у них сверкают глаза, разругались щеки. С ними флиртуют, на них смотрят восхищенными глазами! Терещенко курит, сидя на подоконнике под открытой форточкой. Курит и улыбается в усы.

Рядом с Пелагеей крутится Саша Блок.

Пелагея выходит в дамскую комнату, бросив на Блока откровенный взгляд. Блок было спешит за ней, но в коридоре его останавливает Терещенко.

– Саша, погоди...

Блок смущен, словно его поймали на месте преступления.

– Давай-ка сначала я... – говорит Терещенко мягко. – Деликатная ситуация, не так ли? Подожди в комнате. Выпей пока. Я скоро.

В туалетной комнате полумрак, Терещенко оглядывается, входит внутрь и запирает за собой дверь.

– Пелагея...

Слышно, как она дышит, но ни слова в ответ.

– Ты взрослая женщина, и я не имею право вмешиваться в твои дела.

Терещенко некоторое время молчит, обдумывая, что и как правильнее сказать.

– Кто угодно, – наконец-то произносит он. – Кто угодно, но только не он.

– Потому что он твой друг? – спрашивает сестра.

Ее скрывает густая тень, голос у нее напряженный, злой.

– Нет.

– Потому, что он женат?

– Нет, сестрица. Не потому.

– Объяснись.

– Есть отношения, которые никуда не ведут, – начинает Михаил. – А есть, которые ведут в никуда. Я хорошо знаю Сашу. Он хороший, он талантливый, но отношения с женщинами – это не его конек. У него все так сложно, что нельзя не запутаться. Если ты хочешь остаться с ним друзьями, не приближай его.

– Ты так похож на мать... – говорит Пелагея. – Ты тоже думаешь, что имеешь право давать советы и руководить чужими жизнями... Вы же все вокруг калечите. Ну, она-то неспособна ничего понять про чувства, а ты? Ты зачем это делаешь?

– Я не руковожу твоей жизнью, сестрица...

– Нельзя трогать чужое, Мишель. Со своей жизнью разберись. Я жить хочу, я любить хочу. Мне скоро тридцать, понимаешь? Что мне, сидеть и ждать, пока вы с маман выберете мне мужа или посоветуете любовника? Может, хватит мне влажные сны смотреть? Может, я сама справлюсь?

– Ты взрослый человек, Пелагея...

– Тогда выйди вон, Мишель и дай мне умыться лицо...

– Ты плачешь? Прости...

– Выйди вон, наконец... – говорит она звенящим от напряжения голосом. – И больше никогда... Слышишь, никогда, не давай мне советов по этому поводу.

Терещенко выходит и закрывает за собой дверь.

В коридоре накурено. Возле вешалки целуются два молодых литератора в шейных платках. Они пьяны настолько, что не замечают прошедшего мимо Михаила.

Заседание Государственной Думы

Терещенко слушает выступающего. На его коленях газета с броским заголовком «Война с Германией неизбежна!».

Он разворачивает газету, и становится виден второй заголовок.

«Только один вопрос: КОГДА?».

28 июня 1914 года. Сараево

По набережной Аппель едет кортеж автомобилей.

В середине кортежа авто эрцгерцога Франца Фердинанда. Эрцгерцог в небесно-голубом мундире сидит рядом с женой Софией на заднем сиденье. Рядом с ними губернатор Пиотрек, на подножке офицер, обеспечивающий безопасность. За рулем военный в чине полковника. Машины едут быстро. На лице Франца Фердинанда озабоченность. София держит мужа за руку. Она старается выглядеть спокойной, но бледность и взгляд выдают напряжение.

– Не волнуйся, любовь моя, – говорит эрцгерцог, склонившись к супруге. – Не думаю, что Сараево набит террористами.

Водитель снижает скорость, чтобы сделать правый поворот – на мост. Авто трясет на брусчатке.

Когда машины начинают ехать медленнее, от мясной лавки отходит человек. Он невысок, плохо одет и молод – не больше 20 лет от роду. Лицо у него невыразительное, смуглая кожа нечиста, под носом небольшие редковатые усишки. Стоптаные башмаки шлепают по гладкому булыжнику, одну руку он держит в кармане дурно скроенного, явно с чужого плеча, пиджака.

Первая машина, чуть подпрыгивая на рессорах, сворачивает на Латинский мост. Плохо одетый юноша чуть ускоряет ход. Вдоль тротуара стоит немало зевак, пришедших поглазеть на эрцгерцога со свитой, но юноша легко протискивается между стоящей публикой и оказывается в метре от проезжающего авто Франца Фердинанда.

Доля секунды – и в руке юноши вороненный пистолет. Офицер охраны, стоящий на подножке, замечает это слишком поздно – он тянется к оружию нападающего, надеясь оттолкнуть ствол в сторону, но машина все еще в движении, и офицер промахивается. Зато плохо одетый террорист – нет. Выстрелы звучат несерьезно, словно кто-то сломал две толстые ветки. Пуля пробивает Фердинанду шею, он зажимает рану ладонью, но кровь бьет из-под пальцев, пачкая лазурь мундира. Вторая пуля попадает в живот Софии.

Офицер охраны сбивает стрелявшего с ног, третьего выстрела нет. Губернатор Пиотрек, пытавшийся заслониться от пули рукой, сползает с сиденья. На террориста бросается толпа. Его топчут, а автомобили уже мчатся прочь, к резиденции.

– Софи, не умирай! – хрипит Франц Фердинанд. – Прошу тебя, Софи! Ради наших детей!

Из рта у него летят алые брызги, пачкая белое платье жены на груди. Ниже оно набрякло ее собственной кровью, вытекающей из простреленного живота. Глаза у нее безумные, тускнеющие с каждой секундой.

Автомобили исчезают.

Полуживого убийцу волокут прочь от толпы офицеры и полицейские. Его лицо похоже на сырую отбивную, но он смеется разбитым ртом и зубы у него ярко-алого цвета.

29 июня 1914 года. Петербург. Военное министерство.

Кабинет военного министра Сухомлинова

Входит офицер связи с телеграммой в руке.

– Что там, – говорит Сухомлинов, не глядя на офицера.

– Секретная, ваше превосходительство, – отвечает тот. – Из Вены.

Сухомлинов поднимает глаза и протягивает руку – над седыми ухоженными усами кавалергарда темные, накрытые тяжелыми веками глаза. Голова безупречно выбрита. Офицер вкладывает бланк телеграммы в ладонь генерала.

Тот, надев очки, читает.

Потом поднимает глаза на офицера связи.

– Вот, значит, как? – говорит он негромко. – Ну и слава Богу...

29 июня 1914 года. Петербург. Особняк мадам Терещенко

– Она беременна, мама... – говорит Терещенко.

Голос у него усталый. Он понимает, что тратит время впустую, но проявляет семейное упорство, забывая, что с другой стороны стола сидит та, от кого он это упорство унаследовал.

– Я уже слышала эту радостную новость, – цедит Елизавета Михайловна через брезгливо поджатые губы. – Она беременна и приезжает к тебе в Петербург рожать. Я должна рыдать от счастья? Беременна? Так пусть едет в свою деревню и там рождает ублютков.

Мишель вздрагивает, как от удара.

– Да, сын.

Мадам не говорит, а рубит словами.

– Именно ублюдков. Бастардов. Она не жена тебе. Она в нашей семье никто. Или мне в собственном доме нельзя называть вещи своими именами?

– Это мой ребенок, – выдыхает Терещенко. Кажется, что дыхание у него раскалено и воздух шипит на выдохе. – Это наш с Маргарит первенец...

– Твой ли? – бровь Елизаветы Михайловны выгибается дугой. – Уверен, Мишенька?

Он вскакивает. На щеках красные пятна, челка сползает на покрытый испариной лоб. Кулаки сжаты. Еще миг – и он бросится на мать, но он хватается за спинку кресла и сдерживает себя. Скрипит под пальцами ткань обивки.

– Как. Ты. Можешь. Так. Говорить. – выплевывает он.

– Без труда, – отвечает мадам Терещенко, ухмыляясь одно половинкой бесцветного рта. – Я много раз предупреждала – ей не будет места в нашем доме. Ни с ублюдком, ни без него. Я уж думала, ты поумнел и поменял цветочницу на яхту, но ты обманул меня, повел себя низко. Я была честна, а ты солгал мне, Мишель. Не мне должно быть стыдно, а тебе, сын... Ты поставил свою мать в идиотское положение – я вынуждена напоминать тебе о решении, хоть все было сказано давно и окончательно.

– Она носит твоего внука, мама. Или внучку. Ты не хочешь их видеть?

Елизавета Михайловна смотрит на него не мигая и молчит.

– Ну, будь по-твоему, – говорит Терещенко почти без эмоций. – Значит, и не увидишь...

Он поворачивается и не оглядываясь идет к двери.

По лицу мадам пробегает тень. Она приоткрывает было рот, но тут же смыкает губы, проглатывая окрик, для верности зажав его ладонью.

Хлопает дверь, и только тогда она опускает руку.

– Прости меня, Господи! – шепчет она чуть слышно. – Прости меня, но он не ведает, что творит... Вразуми его, направь на путь истинный!

Хлопает входная дверь.

Елизавета Михайловна встает и подходит к окну. Становится сбоку, чтобы оставаться невидимой, но ее опасения напрасны – ее никто и не пытался рассмотреть.

«Мерседес» Михаила отъезжает от подъезда. Он даже не поднял головы.

30 июня 1914 года. Царское Село

Николай II стреляет по тарелочкам. Стреляет метко, каждый выстрел – попадание. Одет государь не в мундир, а в охотничий костюм и мягкие полусапожки из замши, уместные при сухой погоде. Весь он такой домашний, на царствующую особу не похожий.

За его спиной стоит военный министр Сухомлинов. Этот в мундире, с прямой спиной, смотрит внимательно, цепко.

На столике, придавленная коробкой с патронами, лежит та самая телеграмма из Вены.

– Давай! – командует Николай, и керамическая тарелка взлетает в небо.

Грохочет ружье, и тарелку разносит в крошку.

Щелкает замок, и стреляные гильзы падают в траву.

– Как это произошло, Владимир Александрович? – спрашивает царь, перезаряжаясь.

– Подробностей пока нет, Ваше Величество, я жду новых сообщений от Виккенена. Известно, что наследник с женой были убиты в Сараево двумя выстрелами. Стрелял серб. Начались антисербские волнения.

– Какие именно волнения?

– Погромы, ваше величество.

– Славяне должны поддерживать славян! – говорит Николай.

Замок ружья породисто клацает, закрывая стволы.

– Я полагаю, что нам надобно поддержать сербов...

– Согласен с вами, Государь, – кивает Сухомлинов. – Но в этом случае Россию обвинят в поддержке сербских террористов, а то и с убийством свяжут...

– Давай! – кричит Николай и вскидывает двустолку.

Еще одна тарелка разлетается в воздухе.

– Видите ли, Владимир Александрович, – говорит царь, становясь было в позицию для выстрела, но не стреляет, а аккуратно кладет ружье на столик и наливает себе стакан воды из графина.

Стоящий неподалеку лакей кидается услужить, но государь останавливает его выразительным жестом.

– Нас что так что так будут связывать с этим убийством. Поэтому мы все-таки поддержим сербов. Никто не должен усомниться в славянском единстве!

– Почти наверняка свяжут. – кивает Сухомлинов, голос у него спокоен. – Причина у них будет, основание они найдут.

– Мне кажется, – произносит Николай медленно, и на лице его появляется тень озабоченности, – что мы на пороге больших и весьма неприятных событий и рискуем сильно испортить отношения с кузеном Вильгельмом. И не только с ним...

– Боюсь, Ваше Величество, что мы уже их испортили, – отвечает Сухомлинов. – Я уже говорил Вашему Величеству и еще раз повторю – нам не следует бояться войны. Из войны получится только хорошее для нас, и чем раньше это случится, тем лучше.

Николай снова берет в руки ружье.

– Лучшее? Ну так пусть случится лучшее! Ваши слова, Владимир Александрович, да Богу в уши...

Он прижимает приклад к плечу.

– Давай!

20 июля 1914 года. Вильнюс. Железнодорожный вокзал

Терещенко стоит на перроне с букетом роз в руках.

Проходящий мимо паровоз обдаёт его паром.

Он быстрым шагом идет вдоль вагонов, находит в окне Маргарит и по мере того, как она продвигается к выходу, шагает вслед за ней.

Марг медленно и осторожно начинает спускаться по лестнице, Мишель помогает ей преодолеть несколько ступенек. Они обнимаются.

Маргарит заметно беременна. Несмотря на пышное платье, видно, что она на последних месяцах срока.

– Слава Богу, – говорит Терещенко, не отпуская ее, – ты наконец-то здесь. Рядом.

Мишель слегка отстраняется, чтобы рассмотреть Марг.

– Как ты, Марг? Как доехала? Как себя чувствуешь?

– Теперь уже лучше, – отвечает она. – Не волнуйся, все в порядке.

– Ты бледная... Но очень красивая.

Марг нюхает розовый букет и от удовольствия закрывает глаза.

– Мне так не хватало тебя, Мишель...

Поезд Вильнюс – Петербург. Спальный вагон. Ночь

Маргарит спит. За окнами темнота. Мерцает ночник, и в его свете видно, что Терещенко бодрствует и смотрит на Марг.

Поезд несется сквозь ночь. Головная лампа на паровозном лбу светит нестерпимо белым светом. Вокруг ни огонька.

Михаил стоит в коридоре у приоткрытого окна и курит.

У него сосредоточенное лицо человека, который готовится решать проблему.

И его трудно назвать счастливым.

21 июля 1914 года. Дом Михаила Терещенко

Маргарит читает, сидя в кресле у распахнутого окна. Жарко. Ни дуновения ветерка, занавески не колышутся.

Когда Михаил входит, он отрывает взгляд от книги и улыбается.

– У меня появилась грандиозная идея! – говорит он, опускаясь перед ней на ковер. – Зачем страдать от августовской жары? В Петербурге она ужасна! Давай поедem на Волгу!

– А это далеко? – спрашивает Маргарит.

– Ерунда! До Рыбинска ночь поездом. А там... Там мы сядем на пароход – он, конечно, меньше, чем «Иоланда», и не так роскошен, но я возьму самую лучшую каюту! И это будет прекрасное путешествие! Ты же никогда не видела Волгу, родная? Огромная река! Могучая, красивая! Едем?

23 июля 1914 года. Главная пристань Рыбинска

От пристани отваливает громадный прогулочный пароход.

Вечер. Мишель с Маргарит сидят в шезлонгах на корме, любясь дивным пейзажем.

Вот Марг и Михаил едут в двуколке по улицам Ярославля.

Пейзаж сменяется на Кострому.

Вот Маргарит и Мишель возле собора на высоком волжском берегу. От вида, который открывается оттуда, захватывает дух.

28 июля 1914 года

Пароход подходит к пристани с написанным на ней названием «Казань».

На пристани суeta. Обычно легкая неразбериха всегда сопровождает прибытие корабля, но в этот раз беспорядок иной. Люди гудят, как потревоженный улей.

Летят с борта швартовочные концы.

Михаил и Марг стоят у борта, наблюдая за причаливанием.

– Что такое? – кричит капитан с мостика дежурному по дебаркадеру. – Что стряслось, Петрович? Что за шум?

– Война, – отвечает Петрович и зачем-то поправляет воротничок. – Дожили. С пруссаками война... Сегодня началась.

28 июля 1914 года. Вокзал Казани

Терещенко идет по перрону, поддерживая Маргарит под локоть. Марг бледна, лицо то и дело искажается легкой гримасой боли, но она тут же берет себя в руки.

Вокзал полон людей. Тут же унтеры собирают в шеренги мобилизованных солдат и грузят в теплушки, стоящие на подъездных путях. Переключка. Отрывистые команды. Шумно. Кричат провожающие. Плачут женщины. Осеняет новобранцев крестом пузатый поп. Молится, раскачиваясь, мулла. Пыхтит и плюется паром огромный паровоз, которому цепляют вагоны с надписью «Казань – Москва»

За Мишелем и Марг катит тележку с чемоданами носильщик.

Вагон совсем не похож на тот, в котором приехала Марг из Европы – куда как попроще. Но Терещенко купил в нем купе, хоть и не спальное, и заботливо устраивает Маргарит на широком диване.

– Потерпи, девочка моя, – говорит он. – К утру будем в Москве, а там отдохнешь в гостинице, поспишь, и вечером поедem в Петербург. Как ты?

– Ничего, – выдавливает из себя Марг. – Я в порядке. Не волнуйся.
Но ее бледность говорит сама за себя. Над верхней губой россыпью бисеринки пота. Веки посинели.

– Что не так? – заботливо спрашивает Терещенко.

– Душно...

– Погоди.

Мишель рывком опускает окно.

– Сейчас поедem и полегчает...

Вместе с воздухом в окно влетают бравурные звуки духового оркестра, людской гомон, железное звяканье сцепки.

– Ну, когда мы уже поедem? – спрашивает Терещенко, выглядывая на перрон. – Послушайте, проводник!

– Скоро, скоро, барин... – отзывается проводник. – Через полчаса отправление...

2 августа 1914 года. Санкт-Петербург. Московский вокзал. Утро

Терещенко и Маргарит встречает шофер. Пока Мишель помогает Марг сесть в салон авто, водитель грузит чемоданы на навесной багажник.

Маргарит совсем обессилена поездкой. Она уже не в силах скрывать болезненную гримасу.

У Терещенко на лице растерянность и страх.

– Быстрее, – торопит он водителя. – Быстрее...

Дом, арендованный Терещенко

Авто тормозит возле подъезда. Рядом с ним стоит группа офицеров – несколько из них в форме французской армии.

Мишель помогает Марг выйти из машины. Они проходят несколько метров по направлению к дверям, и Маргарит начинает оседать на землю. Терещенко подхватывает ее, но она почти без сознания, бледность стала мертвенной. Офицеры бросаются к нему на помощь. Марг поднимают на руки и вносят в подъезд. Она стонет.

Терещенко с офицерами бегут по лестнице, неся на руках бесчувственную Марг, и за ними на мраморных ступенях видны крупные капли темной крови.

Квартира Терещенко. День

Терещенко курит у окна в гостиной. Он взлохмачен, испуган, сигарета дрожит в руке, глаза красные – то ли от усталости, то ли от слез.

Из комнаты, вытирая руки полотенцем, выходит врач. На мгновение за его спиной виден ворох окровавленных простыней, лежащих в стороне от деревянной спинки кровати, и таз, кое-как накрытый полотенцами.

Мишель бросается к доктору.

– Ну, что Натан Яковлевич? Что с ней?

– Если Бог даст, то с мадмуазель Ноэ все будет хорошо... – отвечает тот. – Она потеряла много крови, но сейчас кровотечение остановилось. Если к ночи не будет жара, то есть надежда, что все обойдется.

– Слава Богу, – шепчет Терещенко. – Слава Богу!

– Ребенка, к сожалению, – говорит доктор и тоже закуривает папиросу, – спасти не удалось.

Он откашливается, опускает глаза.

– Поверьте, не было ни малейшего шанса. Ни малейшего. Мне жаль.

– Главное, что она жива...

– Ближайшие несколько часов за ней надо понаблюдать. Я вынужден буду злоупотребить вашим гостеприимством.

– Устраивайтесь, доктор, – хрипло произносит Терещенко. – Я прикажу подать вам чай. Или, может быть, по рюмке водки?

– Можно и по рюмке, – говорит врач.

– Мне можно к ней?

– Конечно! Но поговорить не удастся. Я дал ей морфию. Пусть поспит.

Терещенко входит в комнату. В двери прямо перед ним выскальзывают медсестра и служанка, вынося испачканные простыни и этот страшный таз, накрытый окровавленными полотенцами. Мишель буквально вжимается в стену, когда тазик проносят мимо него.

В комнате душно. Марг спит. Алебастровой белизны профиль на белой наволочке. Она удивительно красива в этот момент, но Мишелю ее нынешняя красота не в радость – она слишком похожа на смерть.

Он садится на кровать рядом с Маргарит и берет ее ладонь в свою, потом закрывает глаза, и из-под век у него катятся слезы.

Петербург. Дворцовая площадь. 2 августа 1914 года

На Дворцовой собралась огромная многотысячная толпа.

Государь Николай II, в парадном мундире и при регалиях, стоит в глубине комнаты, собираясь выйти на балкон. Рядом с ним Александра Федоровна. Государь взволнован, но сдержан перед сановниками. Государыня украдкой жмет ему руку.

Царь выходит на балкон Зимнего дворца. Перед ним толпа, заполняющая огромную площадь от края до края. Военные, гражданские, одетые бедно и богато, полицейские и нищие, женщины, дети, старики и старухи... Завидев государя, толпа выдыхает, словно внизу зашевелилось со сна громадное животное, а потом ревет приветственно так, что звук заполняет все вокруг.

В толпе качаются транспаранты, развеваются флаги и штандарты. «Свободу Карпатской Руси», «Живе Сербия!», «Час славянства пробил», «Один за всех, все за одного», «Да здравствуют Франция и Англия!», «Славяне – объединяйтесь!».

Портреты Николая, хоругви, расшитые золотом знамена и лица, лица, лица... Глядящие вверх с надеждой и радостью десятки тысяч лиц!

– А-а-а-а-а-а-а-а!

Николай поднимает руки в благословляющем жесте и крик набирает новую силу, разбивается о фасад Зимнего дворца, плещется под кованными перилами балкона.

Еще взмах рукой – и звук исчезает, на площади воцаряется мертвая тишь и голос государя несется над головами замерших в ожидании граждан:

«Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мировой славы подняли Мы оружие, но, ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой Нашей Империи, боремся за правое дело. В предстоящей войне народов Мы не одни: вместе с нами встали доблестные союзники Наши, также вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы устранить, наконец, вечную угрозу германских держав общему миру и спокойствию. Да благословит Господь Вседержитель Наше и союзное Нам оружие, и да поднимется вся Россия на ратный подвиг с жезлом в руках, с крестом в сердце».

Люди опускаются на колени в едином порыве и через секунду площадь начинает петь – сначала нестройно, но все сильнее и точнее выговаривая слова:

«Боже, Царя храни! Верой и правдой!...»

Маленькая фигурка на балконе и десятки тысяч человек, стоящих на коленях.

Это фотография, оборачивающаяся кадрами хроники.

Синематограф. Темный зал. Трещит проектор. В зале – разношерстная публика. Все смотрят на экран, а на нем...

Кадры хроники Первой мировой. Играл тапер.

Титр: 1914 год.

Взрывы. Атаки пехоты, конницы. Неуклюжие коробки бронемобилей, ползущие на проволочные заграждения. Люди, бегущие в панике. Аэропланы. Карусель воздушного боя.

Титр: Наши войска проявляют настоящий героизм и чудеса мужества в борьбе с врагом.

Снова взрывы. Передовая. Окопы. Спящие в грязи по пояс люди. Полевая кухня раздает кашу. Офицеры над картой. Какая-то делегация обходит блиндажи – среди них Терещенко, одетый в штатское. Рядом с ним женщины-медсестры в головных уборах с красным крестом.

Титр: Благодаря щедрым пожертвованиям меценатов солдаты не испытывают недостатка ни в лекарствах, ни в помощи.

Выгружают из телег и грузовиков ящики с лекарствами. Раненые в полевом госпитале. Искалеченные, израненные, перебинтованные люди – и снова Терещенко в составе делегации. Рядом с ним люди в мундирах, с орденами.

Жовква. 8 сентября 1914 года

– Дорик! – кричит Терещенко. – Федор Федорович!

Повозка, на которой везут разобранный аэроплан, останавливается. Человек, который ехал рядом с возницей, соскакивает на дорогу.

– Мишель! Мишка!

Кузены обнимаются, несмотря на посторонние взгляды.

– Ты откуда здесь? – спрашивает Михаил.

– Это ты откуда здесь? – возвращает вопрос Дорик, отстраняясь. – Я, между прочим, свои изделия на фронт привез! В двух экземплярах!

Действительно, вторую повозку с самолетом, которую Терещенко не заметил, подтаскивает армейский бронемобиль – видать, лошадей не хватило.

– А я лекарства для госпиталя привез... И припасы.

– Горжусь! – улыбается Дорик. – Петя, видишь? Это мой брат двоюродный, Михаил Терещенко.

Человек, идущий от второй повозки, невысок, худощав и открыт лицом. Он улыбается и улыбка его хороша чрезвычайно – хочется улыбнуться в ответ. На нем военная форма и погоны штабс-капитана.

– Нестеров, Петр, – представляется он и жмет руку Терещенко.

– Стоп-стоп, – говорит Михаил. – Вы тот самый Нестеров...

– Я просто Нестеров, – улыбается штабс-капитан.

– Тот самый, – кивает Дорик. – Мертвая петля на «Ньюпоре» год назад. Краса и гордость воздушного флота! Нашего «Илью Муромца» пилотирует! Почти тридцать боевых вылетов! За него австрийки уже и награду объявили!

– Полно, Федор Федорович! – Нестеров машет рукой. – Говорить не о чем!

– Скромность – путь к забвению, – смеется Дорик. – За тобой вон поклонники ходят, а ты все скромничаешь!

От броневика к беседующим идут два офицера-автомобилиста, оба в чине поручика, молодые, моложе Нестерова – немного за двадцать, ну, от силы двадцать пять.

Подойдя, оба залихватски козыряют:

– Поручик Дубов!

– Поручик Вихлевщук!

– Это наши спасители, – говорит Дорик. – Лошадь ногу сломала, так они автомобилем телегу тащат. Я с платформы птичек сгрузил, но до аэродрома своим ходом не получится – только на гужевой тяге!

Он показывает рукой на сарай неподалеку.

– Нам туда. Крылья приладим, моторы проверим... Петр Николаевич пробные полеты сделает и передадим нашей доблестной армии два моноплана конструкции имени меня! Господа! За это предлагаю и выпить! У меня как раз завалялась фляга с божественным французским коньяком!

Серебряная фляга идет по кругу. Коньяк действительно хорош, пьется легко.

– Прямо пикник получается, – шутит Терещенко, поднимая флягу. – За нашу победу, господа! За нашу скорую победу над австрийской и немецкой военщиной!

– За будущую мощь нашей авиации! – подхватывает Дорик, делая глоток. – За наших отважных летунов!

– Для нас большая честь, – говорит поручик Вихлевщук, оглядываясь на товарища. – Большая честь знакомство с вами, господа! Мы с коллегой мечтаем стать авиаторами и пересечь с нашего Росинанта на аэроплан!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.